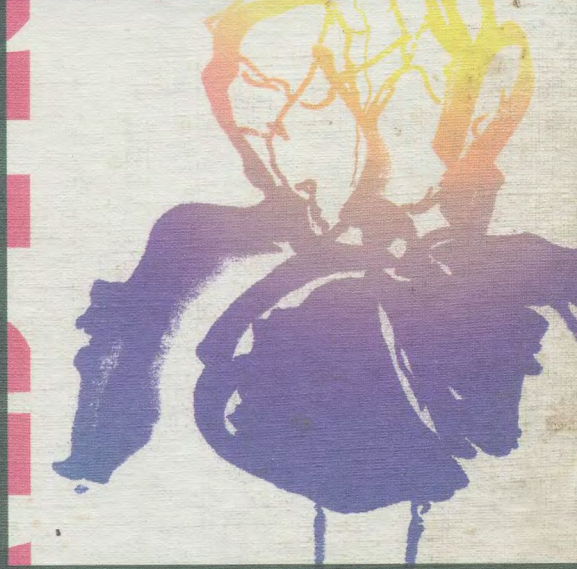


Андрей Вознесенский

Андрей
Вознесенский



РОБОТЕРАБОТКОВО

Владимир Владимирович

Камин мне
подарил
в ~~каменную~~ стужу
Тедя орудил и не с жаром
сохнул
моя мертвая душа
Закрета
моя душа жила



Собрание сочинений

том шестой

Андрей Вознесенский

НЕ БУДЬ ШЕСТЕРКОЙ



ВАГРИУС
Москва 2005

УДК 882-82
ББК 84.Р7
В64

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9560-0138-0
ISBN 5-9697-0001-0 (Т.6)

© А.Вознесенский, автор, 2005
© К.Заев, дизайн, 2005

Вдвоем

Над темной молчаливою державой
какое одиночество парить...
Завидую тебе, орел двуглавый,
ты можешь сам с собой поговорить.

Ради Тебя

Ради Тебя надрываюсь на радио —
вдруг Ты услышишь, на службу идя.
Я в этой жизни живу Тебя ради,
ради Тебя.

Я тренажеры кручу Тебя ради,
на пустом месте педали крутя.
В жизни, похоже, я кем-то украден.
И надо мною кружат ястреба.

Между убийцами выбор и пройдами.
Не ради «зелени» и тряпья,
не для народа я пел, не для Родины —
ради Тебя, ради Тебя.

Точно на диске для радиолы
дактилоскопическая резьба —
без Твоих пальчиков мне одиноко!
Приди ради Бога, ради Тебя.

Не в Петербурге, не в Ленинграде —
в небе над Невским мы жили с Тобой.
Третий глаз в лоб мне ввинтишь Тебя ради
антикокардой. Это любовь.

В моих фантазиях мало доблести,
жизнь виртуальную торопя,
я отучаю Тебя от комплексов
ради Тебя, ради Тебя.

Пусть пародийны мои парадигмы.
Но завтра сбудется трепотня.
Если умру я, повторно роди меня —
роди ради Бога, ради Тебя.

Новый поэт

Старый корвет — самый юный и модный
тысячу лет.

Вышел на улицу без намордника
старый поэт.

В ужасе дети. Полыми флейтами
свищет скелет.

Вдруг проклянет он наше столетие,
страшный поэт?

Мэтр партизанит хромой куртизанкою
под марафет.

Танки похожи на запонки
в грязном снегу манжет.

Ежесекундно рождается заново
новый поэт.

В жизни для женщин, в хохоте встречных
смерти ища,
старый поэт, ты бессмертен и вечен,
как человеческая душа!

Душа народа на предъявителя.
Возраста нет.

Где моя вера, шар из финифти?
Слово в зените
через запрет?

Новые русские, извините,
я — старый поэт.

Люби меня!..

Одна была — как Сольвейг,
другая — точно конница Деникина.
Заныкана общественная совесть!
Поэт в себе соединял несое-
динимое.

Две женщины — Рассвета и Заката.
Сегодня и когда-то. Но полвека
жил человек на ул. Павленко,
привязанный, как будто под наркозом,
к двум переделкинским березам.

Он, мальчика, меня учил нетленке,
когда под возмущения и вздохи
«Люби меня!» — он повелел эпохе.

Он не давал разъехаться домашним.
«Люби меня!» — он говорил прилюдно.
И в интервью «Parisdimanche»м,
и в откровении прелюдий.

Любили люди вместо кофе — сою.
И муравьи любили кондоминиумы.
Поэт собой соединил несое-
динимое,
Любили всё: объятия, и ссоры,
и венских стульев шеи лебединные.

А жизнь давно зашла за середину,
у Зины в кухне догорали зимы.
А Люся, в духе Нового Завета,
была, как революция, раздета.
Мужская страсть белела, как седины.

Эпоха — третья женщина поэта,
его в себя втыкала, как в розетку —
переходник для неисповедимого.

У Зины в доме — трепет гарнизона.
И пармезан ее не пересох.
У Люси — нитка горизонта
развязана, как пояс.

— Вас сгубит, переделкинский отшельник —
не царь, не государственный ошейник —
две женщины вас сгубят.

I'm sorry.

Настали времена звериные.
Какие муки он терпел несои-
змеримые.

Все жены помышляют о реванше.
И, внутренности разорвавши,
березы распрямлялись:

та — в могилу,

а эта — с дочкой в лагерь угодила.

И в его поле страшно и магнитно
«Люби меня!» — звучало,

как крещендо.

И этим совершалось воскрешенье.

Летят машины — осы Патриарха.
Нас настигает осень Пастернака.

У Зины гости рифмами закусывали.
У Люси гости — гении и дауны.
Распятый ими губку в винном соусе
протягивает нам
из солидарности.

У Зины на губах — слезинки соли,
у Люси вокруг глаз синели нимбы...

Люби меня!
Соедини несое-
динимое...

Тебя я создал из души и праха.
Для Божьих страхов, для молитв
и траханья.

Тебя я отбирал из женщин разных —
единственную.
Велосипедик твой на шинах красных
казался ломтиками редиски.

Люби меня!
Философизм несносен.
Люзина? Люся?! Я не помню имени.
Но ты — моя Люболдинская осень.
Люби меня!
Люби меня!
Люби меня!

Лик Демона похож на Кугультинова.
Поэт уйдет. Нас не спасают СОИ.
Держава рухнет треснувшей льдиною.

ПОЭТ — ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕ-
ДИНИМОЕ.

Море

Море разглаживает морщины.
В море — и женщины, и мужчины.
Глупо спрашивать про причины.
Море разглаживает морщины.

Спят пеликаны, как нож перочинный.
Сколько отважных море мочило!
Пляж не лажает тебя. Молодчина!
Горе не страшно. Оно — не кручина.

Море разглаживает морщины.

Как палец, парус вылез.
И море — в бигуди.
И чайки смелый вырез
у неба на груди.

Я хочу Тебя услышать.
Я Тебя услышать хочу.
Роза, ставшая усыхать,
шорох вечности обретя,
мне напомнит каракульчу.

Звук — пустышка, белиберда.
Стакан, звякнувший по кольцу.
Я хочу услышать Тебя,
прядь, что нотным ключам под стать,
и кишку, что бурчит опять —
я хочу Тебя услышать —
блузки шелесты по плечу...

Всю Тебя услышать хочу.



Тройка. Семерка. Русь.
Год 37-й.
Тучи из мертвых душ
воют над головой.

«Тройки», Осьмеркин, ВТУЗ.
Логика Германна.
Наполеона тускл
бюстик из чугуна.

Месяц, сними картуз!
Тушь хлещет из синих глаз.
Раком пиковый туз
дамы глядит на нас.

Тройка. Сермяга. Хруст
снега. Видак. Ведмедь.
Видно, поэт не трус —
вычислил свою смерть.

Грустно в клинском дому.
Сам Петр Ильич не поймет:
Дама кто? Почему
Чекалинский — банкOMET?

Как семеренко, бюст.
Как Нефертити, гусь.
Куда ты несешься, Русь?
Тройка. Семерка. Руст.

Только я с вас смеюсь.
В морге играют туш.
Царь. Семичастный. Хрущ,
себя расчесав, как прыщ

на попе, горит, растуц!
Меня обзывает «прынец»...

Идет перестройка душ.
Мумии. Тролли. Буш.
Свихнувшийся троллейбус,
куда ты несешься, Русь?

Шиз. Гиндукуш. Наркокуш.
Чека напрягает линзы.
НАРОД: «Накрылся Союз.
Гол! Тама! Битнер!..»
ЧЕКАЛИНСКИЙ:
«ВАША ДАМА БИТА!»

Иисус (ступает без шуз),
бессмертие — это малость.
От поэта одно осталось:
«Я ВАС ЛЮБЛЮ, ХОТЬ И БЕШУСЬ!»

Тройка. Семерка. Туз
прострелен над головой.
Портвейн «Три семерки». ТЮЗ.
Значит, поэт живой.

Поглядишь, как несметно
разрастается зло —
слава Богу, мы смертны,
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы
табунки васильков —
слава Богу, мы смертны,
не испортим всего.

Глядите, «зиг хайль» вздыбил Медную лошадь,
с дворцовой фарцы
тебя приведу на Скворцовую площадь,
где свищут скворцы.

Еловые ветки подобны консолям.
Не избы для птах
мы храмы построим, мы мессу настроим —
куда И. С. Бах!

Творцы, может, были убийцы и грешники,
но души их с дырочками изнутри,
волшебна на небе горят, как скворешники —
индивидуальные алтари.

Те дырочки — черные круглые лазы,
как темный манок,
часовни дощатые одноглазо
горят, как монокль.

Творцы поумолкли, птенцы не намокли.
Внимательные, как глаз,
кривые насмешливые монокли
взирают на нас.

Не будет ни ареста, ни награды
за их монолог —
лишь песенка нищего аристократа
и глупый монокль.

Банкноты струились, как ноты форели,
живем одноразово.
СКВ прилетели! СКВ прилетели!
Звоните Саврасову!

Прожить бы с Тобою в лесном изобилии,
ворчи — не ворчи,
и мессу служить, что скворцы сотворили —
скворцы-чернецы.

Надменным моноклем вылазя из фортки:
«Хэллоу, коты!»
Всю жизнь просвистать, как залетные скворки. —
Как я и как Ты.

У нас Рим и Азия смыкаются.
Мы истеричны и странный.
Мы стали экономикадзе
самоубийственной страны.

Тот — в Склифосовке,
вскрыт философски.
Тот — в трепанации
от трепа нации.

Стебли росных ландышей
сакс напоминал.
Я нашел в Лос-Анджелесе
Зубовский бульвар.
Зубов улыбался,
кумир антипопсы.
Как прорези на базе,
висят усы.

Ударник, старый мальчик,
бледней нашатыря,
семь лет не брал он палочки
в глуши монастыря.
Зуб, улыбнись, как ножик!
Лицо, как падишах,
как стул на венских ножках,
уселось на усах.

Леха, гни коленца.
Принц моих
детских лет,
будто Лех Валенса,
усач и диссидент.
Буди интеллигенцию,
Интеллигент!

Гуляют по Зубовской улице.
Усы жирные,
как устрицы.

Вместе с усами
бен Ладена
озвучены
БИ-Лайно.

Русский камикадзе,
по ком дивертисмент?
Кто сказал, что эмиграция —
это смерть?
Разве только в эмиграции
есть Русь?
Шевелится сакс играющий,
как третий ус.
От Нью-Йорка до Сургута
общий вкус
наши внутренние трубы
ждет Исус.

Воет сакс, как будто трупный
третий ус.

Бахи Бахусы
усища
усыпительно лассо

Усыщи

Усышься

Усё.

Хаос

25 Вдвоем

космос бесхозный

зуммер

осы вязкозные

БЕЗУМИЕ

Плохой почерк

Портится почерк. Не разберешь,
что накорябал.
Портится почерк. Стил ь нехорош,
но не характер.

Солнце, напрягшись, как массажист,
дышит, как поршень.
У миллионов испорчена жизнь,
воздух испорчен.

Почки в порядке, но не понять
сердца каракуль.
Точно «Варяг» или буквочка «ять»,
тонет кораблик.

Я тороплюсь. Сквозь летящую дичь,
сквозь нескладуху —
скоропись духа успеть бы постичь,
скоропись духа!

Бешеным веером по февралю
чиркнули сани.
Я загогулину эту люблю
чистописанья!

Скоропись духа гуляет здесь
вне школьных правил.
«Надежды нету — надежда есть»
(Апостол Павел).

Почерк исчез, как в туннеле свет.
Незримый Боже!
Чем Тебя больше на свете нет —
тем Тебя больше.

Носорог

Мы познали лишь предбанник.
Краток срок.
Поглядите на рубанок —
это ж носорог!

Красноглазы, косороты,
в стружках, точно паровоз,
носороги, носороги
мчат шипами красных роз.

Носороги на дороге
точно памятник эпох.
Носороги на сороке
вроде блох.

Под броней орденоносной
шелк застенчивых кишок.
Стружкой пенятся доносы.
Напряженный, как курок,
в бой, как Навуходonosор,
он бежит, сороконог.

В животе у носорога
наш волшебный носорог! —
Меж твоих дремот и пуков
в носорожьем животе
по фамилии Сонвруков
пребываем в тесноте.

Почему оптимистична
его кожа под паршой?
Рог торчит, как палец, тычась
«на большой»?

Почему же среди монстров
настороженный рыбок?
Пастернака звали сестры:
«Носорог».

Мы живем, забыв о Боге.
Быт в квартире все тесней.
Люди — это носороги.
Нет людей.

Деньги пахнут

Деньги пахнут будущим,
тем, на что их тратим —
для детсада булочкой,
или же терактом.

Деньги пахнут жизнью,
мыслью миллионов.
Пахнут потным жимом
нищих чемпионов.

Деньги пахнут женщиной,
страстно мотовкой,
чуждой сбереженщине...
Новенькой церковкой,

Богом деньги пахнут,
детским марципаном.
Баху, как и Пахмутовой,
нужны меценаты.

Пахнут волей, Господи,
иногда тюрягою.
Чем их больше копите —
больше их теряете.

Впрочем, неприлично
говорить о деньгах.
Как хвалиться лично,
сколько трахнул девок.

Живите незапахнуто,
даже тот, кто в розыске.
Удобренье пахнет
будущими розами.

Не сетую

Рыбу третьей свежести едим из Сетуни.
Поэты третьей свежести набрались сил.
Не бывает Отечества третьей степени.
Медведь вам на ухо наступил.

Мое Отечество — вне всякой степени,
как Бога данность —
к нему, точно к песне, всегда не спетой,
испытываю благодарность.

Я думал, Ты — звездная женщина,
без минусов и теней —
не просто постельная сменщица
простыней.

Я думал, Ты — моя фэбула.
Но с ужасом узнавал,
что девка с чулочной фабрики,
выходит, Твой идеал.

Глаза подымаю. Я понял.
Звезда бежит на порог.
И след продолжается по небу,
как спущенной строчкой чулок.

К рекордам идут калеки.
Снимают с гвоздя Христа.
Бежит по Твоей коленке
спускающаяся звезда.

ЖАРИМ МИРАЖ

Поэма

I

В Москве, заснеженной, игорной,
был зодчий пьян —
Манеж задумал треугольный,
как дельтаплан.

Меж колокольных гениталий
лети, тимпан!
Горя краями, гениальный
плыл дельтаплан.

В стране дрекольеv, водки горькой,
«Газелей» вместо BMW
свою тоску по треуголке
привнес Бове.

А может, зодчий в спинке горничной —
ню, без одежд —
в незагорелом треугольничке
узнал Манеж?

И царь, не внявший «цвету расы»,
искусств знаток,
дерьма мешок,
выл Геростратом: «Пидерасы!»
Был первый, кто Манеж поджег.

II

Манеж подожгли. Гримасничают
огненные языки.
Идет на глазах кремация
деревянной души Москвы.

Огонь достигает Марса.
Шикарно горим, мужики!
Двое уже мертвы...
Бряцают метопы гремящие.
Смеемся, чему — не ясно.
Так Анна бы Монс смеялась,
хоть нет у ней головы.
ВЫБОРЫ. ВЫБОРЫ. ВЫ...

Вычислили геростратчиков.
Россия сошла с ума.
В себе пережгли мы датчики
дерьма.

Манеж подожгли. Похрустывает
метопа над топкой кружал.
Я еще первокурсником
ее чертил, отмывал.

Писал стихи под Хераскова,
был глуп и тощ, как струна.
Метопа твоя кирасовая
воспитывала меня.

Споткнешься в воздушной яме.
Ну, подожди!..
Манеж подожгли. Не прямо,
так косвенно подожгли.

Кому-то беда случилась,
кому — барыш.
Россия, моя лучина,
зачем так ярко горишь?!

III

Летят, рубя колонн канаты.
Прорвите сеть,
талантливые дилетанты —
лишь бы лететь!

Все прут, как к Бетанкуру в оцуп,
на дельтаплан.
Там огневает гений — Осип,
но Мандельштам.

И я, отсиживая попу,
над ватманом, пятнистым как форель,
лечу, схватившись за метопу.
Farewell??. Офонарел.

Моя работа курсовая —
Бове в пандан.
Косым фронтоном красовался
я, хулиган,
от Курской плыл до Куросавы
мой дельтаплан.

Я пел «Пожар в Архитектурном».
Я заклеямен
был критикою из ментуры,
как лже-Нерон.

Не обессудь, Осип Иваныч!
Жизнь — новодел.
Куда горящим дельтапланом
ты отлетел?

Загадки мы не разгадали.
Оставишь ты
на наших лицах запах гари
и высоты.

IV

Но, слава Богу, не теракты
сюда вплелись.

Страшной народной катаракты
на-всё-плеви́зм.

Простимся с Вербным воскресеньем!
И невозстановима Красота.

Как не заменит
никакое воскрешение
живого и мучимого Христа.

Зачем Он в небе появился?
Зачем Он крылья поменял опять
на христианство дельтапланериста,
чтоб необъятное обнять?

Чудо Манежа, поразительно
горят дотла цари, ЦК —
доска с иконою Спасителя
одна цела.

Вскинь руки к небу,
новый Шлиман!
Сверкнет манжетка!
Зачем Бове пожарным шлемом
украсил запонки Манежа?



Жарим Мираж.

Мы охвачены пеплом и дымом.

Женам Манеж

с утешением письма пошлет.

Белые с беж

ползгают дубленки ампиром.

Жарим милашку,

влюбленные в Настю Филиппову...

В слове Манеж

проступает «жаме» —

НИКОГДА!

V

Минута страшная молчанья
машин,
деревьев, уцелевших зданий.
И мы, мужчины, промолчим.

Смеркается. Манеж не меркнет.
Края горят,
как указующая стрелка:
«Кто виноват?»

Все показанья по касательной —
фронтон отверг —
горящей стрелкой указательной
он кажет — вверх.

Памяти Юрия Щекочихина

По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля —
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.

Прощай, сайгачонок!

Вертолетной охоты загадка —
тень, скакнувшая по холмам.
Как глазастый детеныш сайгака,
умерла Франсуаза Саган.

Нынче кажется несуразно —
когда мне, учащая пульс,
Ты представилась: «Франсуаза»,
как сказала бы — «Здравствуй, грусть».

Стала горьким слоганом фраза.
Мне хотелось всего и сразу.
Я обидел Тебя, Франсуаза.
С длинноногой ушел, как хам.
Мы с тобой — скандальные профи,
персонажи для PAL/SECAM.
Виноватую чашечку кофе
не допью с Франсуазой Саган.

Кеды белые, как картофель
ежедневных телереклам.

Кто вмонтирован в современность —
Магомет или Иисус?
Нашей дезе: «Да здравствует ненависть!» —
отвечаешь ты: «Здравствуй, грусть».

Нашим дням, Ты сказала бы — полный,
не Великий пост, а постец.
Сайгачонку сломали крестец.
Абажур протрезвевший вспомнит
твою фразу: «Bonjour, tristesse».

Я теперь брожу по Парижу.
Грусть нелепа, как омнибус.
Все прекрасно и не паршиво.
Наспех с кем-нибудь обнимусь.
Вдруг ты выглянешь, сайгачонок,
и в глазах твоих огорченных —
Bonjour, грусть...

Там Гольбейн пьет с Куртом Кобейном...
Тома Круза ждет в гости Пруст.
Все обиды теперь — до фени...
Точно кайф мечты наизусть,
мне над чашечками кофейными
повторяешь ты: «Здравствуй, грусть».

Инакомыслие кокаина.
Ты простила. У ангелов стресс.
Мне прощаться с тобой наивно.
До Тебя лишь один присест.
Груз души, что в Тебе повинна,
тяготит. Абажур нетрезв.

Прощай, грусть, Твой «bonjour, tristesse!»

Как ты там? С кем шнуруешь кеды?
Я от ужаса отшучусь:
«Сайгачонок, бонжур, покедова!»
Прощай, грусть.

Хозяйка квартиры:
«На них были маски и черные презервативы».

Европа-плюс — плюсплюсплю — сплю с...
АПОКАЛИПСИС ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ЧАСА.
А пока липси и «ча-ча-ча».

В день рожденья подарили
мне заморский дылбушир.
Сальвадорье. Семидырье.
Трех вакханок черных дыр.

Что пророчат их проделки?
Чтобы вновь башку разбил?
Кабинет мой в Переделкино
свищет сквозняками дыр.

В каждой женщине — семь дыр:
уши, ноздри, рот и др.
Но иного счастья для
есть девятая дыра.

Автор в огненном тюрбане
продуцирует стриптиз —
гениальный Мастурбатор?
Фиолетовый флейтист?

Праздник — шумная ходынка.
Но душа заштопана;
закупоренная дырка.
Кто бежит за штопором?

Ищет Рай душа Яндырова,
потеряв ориентир.
Что в подарок мне вкодировал
гений, прародитель дыр?

Сбросьте иго истеричек!
Дар — возможность стать собой.
Супернеэгоцентричность —
быть дырой.

Радырадырадыра —
возрождаемся, даря.

Сталин — Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье
жить с звездой № 9!

Памяти Алексея Хвостенко

Пост-трупы звезд.
Отрубился Хвост.

Прохвосты пишут про Хвоста.
Ворчит святая простота
из-под хвоста.

Звезда чиста.

Прошу Христа
понять Хвоста...

Бомж музыки, над площадью Восста...
ты, вроде пешеходного моста,
пылишь над нами, в дырках как бигудь...

Забудь.

Прости короткой жизни муть.
Мети бородкой Млечный Путь.



Безветренна наша площадь.
Зачем же перед Кремлем
подставили маршалу лошадь,
виляющую хвостом?

Но ветер, крутя как штопор,
в невидимый ток облёт
ту Топкую, адскую топку...
(Учения. Код «Снежок».)
Овца тепловыми столбиками
кружилась. Спаси нас, Бог!
Водитель запомнил только:
«Как по спине утюжок»...

Все глуше народный ропот.
А маршалу за спиной
все чудится медный штопор
завинченную виной.

Суперстары. Супостаты.
Хрущев круче Троцкого.
Он своих крестьян подставил
в эпицентре Тоцкого.

Озеро отдыха возле Орехово.
Шахматно воткнуты в водную гладь
белые бюсты — кто только приехал,
бюсты из бронзы — кому уезжать.

Быть отдыхающим — это профессия.
Рядом летают тарелки борща.
Сушатся трусики фельдеперсовы
все сообща.

Утром журфиксы. Журчанье Вивальди.
А за стеной
слышно, как писает в умывальник
трижды герой.

В небо свинцовое запускаются
детям шары,
будто качают вишневые яйца
в небе слоны.

Не рокируется. Не кирается.
Скорби бабуль.
Ты — золотая, словно кираса.
Скоро — буль-буль...

МТС

Раньше гений и балбес
мыслили по-сталински:
«Наша гордость — МТС —
машинно-тракторные станции».

Пришел прогресс. И денег без
мамаша плачется, как дети:
«Нас обчитала МТС —
мобильные телесети».

Прогресс, мамаша, — темный лес.
И деньги Ваши не вернутся.
Читайте слоган «МТС —
Мошенники Только Смеются».

Я другому виной

С крыши капает время,
оплывая, как воск.
Комсомольская Эмма.
Молчаливый Свердловск.

Все вертается заново.
Я неважный теург.
Эмма стала Рязановой.
Свердловск — Екатеринбург.

Я другому виной.
Говорят, что Обком,
спровоцирован мной,
снес Ипатьевский дом.

Я опять не влюблюсь.
Вместо взорванных ям,
как подколотый бюст,
новый высится храм.

Ты слезами закапана.
Детский слышится крик —
августейший здесь капор
насадили на штык.

Скейтинг-рингом летит
катерининский яр.
Тихой свечкой горит
стеариновый царь.

Продолжают паломники
стеариновый бум.
Мы с тобою помолимся
за Екатеринбург.

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

В бревенчатом Переделкине,
когда-то любви орудие,
как белые полотенца,
мотались по полу груди.

Ловитвой в лучших традициях
они деловито носились.
Елозили по половицам —
лишь бы не занозились!

Дебелая автоматчица,
с колен, в слезах сфабрикованных,
молила, вопила, артачилась
Галина Серебрякова.

Я с демоном дискутирую,
с монстрами с глазу на глаз.
«Сейчас вам продемонстрирую,
Андрюша».
Какая наглость!

И лагерные шрамики,
как крохотные рубины,
отсвечивали среди срама...
Я в ужасе отрубился.

Очнулся от крика Хрущева.
Мне было не до прикола.
Из зала страшным крещендо
вопила Серебрякова.

Полемизировал с Магомедом.
Как подсолнечник желт прикидом.
Маяковский был первым скинхедом?
Может, скажете — первым шахидом?!

Но наивная боль кубиста
перехлестывала сквозь это.
Сомнамбулическое самоубийство
возвратило его в поэта.

Он парит над Москвой лубочной,
над Лубянкою криминальной.
Гениальный он был любовник,
остальное конгениально.

В отличие от смоковницы
с саксаулами
революция Маяковского —
сексуальная!

«Мяу-ковский» вопили кошки.
Мао-конский — глас протодьякона.
Поэт играет в собственные кости.
Как в небе «Як» или совесть Св. Якова.

Зазывая в глаза огромные,
киберматерью была его Лили.
Убивались или любили.
Или-или.

Лили Бриг клеймили интриги:
«Черный пояс на ней с резинками».
Местечковый акцент меняли комбриги
на метерлинковской.

Не любил его критик в кофточке.
Наш народ так его и не понял.
Нацепив на лацкан морковку,
уходил Маяковский по небу.

Озаренная преступлением,
вся страна подымалась в гору.
Окровавленными ступенями
по шинелям шли «разговоры».

Рты заклеены как конверты.
Не удерживаюсь от трюизма:
Маяковский был первая жертва
государственного терроризма.

Годы. Крушенья новые.
Никто тебя не спасет,
девочка большеголовая
с бантом как вертолет!

1

Где охранники?!
Крыша съехала?..
Молодой мужик в ресторане
разбил зеркало.

Почему он в кровоподтеках,
точно в буром плиссе-гофре?
И сияют осколки стекол,
точно радуга на лице.

Мы в руках его держим цепко,
оттягиваем, как рогатку.
Отпускаем. Он вновь летит в зеркало.
Вот загадка.

Может, тяжело в его дому?
Он развелся. Бить стало некого.
Почему
он разбил зеркало?

Почему от земного вращения,
как на дне рожденья, блюем?
Почему к себе в отвращении
в отраженье свое плюем?

Почему он подался в спекули?
Добрый пекарем быть рожден.
Почему мы глядимся в зеркало,
а оттуда — Наполеон,
сбив пыль с сюртука, вылезает?
Слоеный. И кремом залит.

*За ним — человекоподобные батоны,
халы, плетенные, как косы,
печенье пичуги — почемучные изделия...
Человекообразные образины.*

*Человекоподобные объясняли.
Обезьяноподобные обожжали.
Бесподобные обожали.
Преподобные — без изъяна.
Ничегоподобные облизали...*

*Говорил же мне Ионесси,
что придет Годо — год «О»,
год Обезьяны.*

*Бог отвернулся. Абы занят.
На Земле пошел зоосад.
Кто-то нашу жизнь обезьянит,
оставив в зеркало красный зад.*

*И летят обезьяны с мигалками —
смак смаксмаксмак.
Нас с трудом обезьянит Галкин —
Макс максмаксмакс.*

*Почему меня панируют —
смех макакам.
Ставят в печь. В глазурь полируют
фиг с маком!*

*Но внезапно адепт пекарни
и невольник частного сектора
получает удар зеркальный —
бьет зеркало!*

*Почему лицо облезает,
вышибая из глаз молекулы?
Бей, ответная обезьяна,
бей зеркало!*

Бей, двойник мой первопричинный,
бей зеркало,
панированного мужчину
с вытаращенными зенками.

ОБСъЕли, страшен оскал.
Мы — кал небесных зеркал.

Почему зерколлажи мутные?
Почем детские почемульки?
Почему жужжат в моем ухе
почемухи?

3

Почему у нас нет просто пекаря?
Куда ж делся он — вот вопрос.
Почему нам не виден в зеркале
человекоподобный Христос?

Я в ответ тебе промычу,
как Суворов, прокукарекаю,
промолчу — почему, почему
я не разбил зеркало.

Срамота чиновничья,
маета Мавродина.
Мой ответ сыновний:
«Моя не та родина».

С мышками-полевками
в куче огородике —
ты мой край заплеванной!
Это моя родина.

Деприватизация
кулаков по-старому.
Общею плевательницей
душа твоя стала.

Не поможет Зыкина,
если совесть вынута.
Мать русскоязычная,
мы с тобою — сироты.

И не надо очи
увлажнять за ужином.
Гоголя плевочки
нынче — как жемчужины.

И плывет над родиной
тучи край потухший —
будто кислородная
серая подушка.

Что тебе эпоха,
века запах тленный
рядом с этим вдохом,

с клеверным
вкраплением?!

Богом окропленная,
вместе с нищим Родченко,
хамами оплеванная —
это моя родина.

Орденскими планками
мимо поезда.
Чувство благодатное —
родина одна.

Страны. Жизнь. Закаты.
Орды. Времена.
Благодать за кадром —
родина одна.

Обожаю родины
синеву распаханную!
«Жигулек» — как родинка
над холмом распаханном.



Ни зги. Синяк. Кровавый глаз.
Синьяк. Мазки. Мосгаз?
Маньяк? Мерси вам за него.
МОЗГИ — ЭТО ЭСКАРГО.

Спирали страха, где МАЙ ДУМ
жрет перетраханый мой ум.
В кишки мозгов облачено,
раскручивается кино.
Но
не покидает моих дум
МАЙ ДУМ.

*Май дум, му дуот — ду жай.
Май дум, му дуот — ду жай.
Май дум, му дуот — ду жай.
Май дум, му дуот — ду жай.
Май дум, му дуот — ду жай.*

Ешь Магги — третью морковь.
Полтонны съешь — улучшишь кровь.
Май дум организовал Майкрософт.
ОРГАЗМ МОЗГОВ.

Кино. Останкино. Танги.
Люблю жареные мозги.
Себе поджарю полмозга.
Жри, Москва.
Тревожит мысль сквозь тарарам:
ЧТО ТАМ?

Не ведал академик Тамм,
что там?
Сердечко бьется, как там-там:
что там?

Вопрос султанов и сунан:
 что там?
 Гамлет пытал и Нострадам,
 что там?
 Всей философии обман.
 И одноглазый Тамерлан:
 что там?
 Что там — Тамара или Демон?
 И демонтаж земных видений?
 Не торопись. Узнаешь сам,
 ЧТО ТАМ.

Выведу томографию.
 Гематомический театр.
 Выводы: демократию
 нельзя терять.

Меж женщин, мокрых
 от мелодрам,
 поэт — тамограф
 от слова «там».

«Не гребь мозги» — писал
 Ги де Мопассан.
 МосГИБДД не любит деньги
 и т.д.
 Макси — малый бизнес.
 Мозги утекли на Запад.

Юго-Запад запил.

По Думе бегают май дум.

Я думаю, к чему мосты?
 С Москино до кино Москвы?
 И мысли, как рой мошки:
 кис-кис тиски тоски иск икс моски — ты
 МОСКИТЫ ты — ты — ТЫ — ТЫ

Инструкция по скоростной ходьбе

Произносите про себя слово «пятки».
(Франц.)

Опятки пятками пятятся.

Беги, пока не распят.

Следи за пятками!

Пятки пятки — пятки — пятки — пяткипят!

пятки пятки...

Опля!

Конопля — в порядке.

Хоть на парад!

Хоть на блядки!

К чему прятки?!

Пяткипяткипяткипят...

Опять листопад на Пятницкой.

Я снова в шоковом сне.

Шелковые твои пяточки,

двойкие как пенсне.

Душа обувается в тапочки.

Всё вкупе для эскапад.

Что жжет нам подошвы?

Пяточки,

Как суп из опят, кипят

Кипяткипяткипятки...

Странен мир безалкогольный.
И стоят среди страны,
как холмы без колоколен,
безбутыльные столы.

Садитесь! Садистские это комплексы?
Чиновничья ли проказа?
Волшебный диванчик, усыпанный кнопками,
походит на дикобраза.

Когда на диванчик, устав от дискуссий,
прилег я, земной скиталец,
почувствовал сто комариных укусов.
Вскочил я. Но кнопки остались.

И что-то колет в рукопожатии.
Когда прижимаюсь к красотке,
блуждает в вене — всегда пожалуйста! —
проклятая кнопка.

Отовсюду вылазят кнопки,
остроносые, как Пиноккио.
Мой дружочек ишь раскудахтался:
«Мы — кнопки в заду государства!»

Откуда же на сердце такая обуза,
когда из земного паноптикума,
раскрыв треугольнички черных арбузов,
торчат заусенцами кнопки?!

Проктолог — отоларингологу:
«Сквозь лярву вижу вашу голову.
В дыру тоннеля бесконтрольного
я вижу Божий свет и горлинку».

Проктолог — отоларингологу:
«Ночами и парторги голые!
Вглядитесь в глубину парторгову!
Отари Ларина потрогала».

Проктолог — отоларингологу:
«Не запивай пулярку колою!
Путь к воскрешенью зафрахтован
нам Франкенштейном и Фрадковым».

Проктолог — отоларингологу:
«Патрон наш срок не пролонгировал.
С тротилом тачка припаркована.
С одной Тобюю нет прокола».

Проктолог — отоларингологу:
«У Ларри Кинга ргіск с приколами.
Россия славится расколами.
Ахматова сгубила Горенко».

Отоларинголог — проктологу:
«В два горла, как стволы двустволки,
я вижу вас. Вы — алкоголик.
Лечись китайскою иголкою.
Пускай другие врут с три короба:
Шнур популярнее Киркорова».

Слава павшим!
Над чащею
птичья стая плывет,
как распавшийся на части
сверхзвуковой самолет.

Ночь

Выйдешь —
дивно!..
Свитель
видно.

Жертвы 11 сентября

Тело обесценено —
душу не убейте!
Души перепутаны как спагетти,
Люминисцентный
кабельный репортаж...
Ад. Авиа-Алькаида.

Andrew A. Abate
Vinsent P. Abate
Adams Abel (не наш)
Paul Acguaviva
Боже! **Ivan Barbossa**
От босса четыре розы —
наркоза покров —
спит коленопреклоненная
Colin Ann Barkow/
Sherhar Kumer
Умер.
Beverli Buhse
Умерли все.

Два куба,
набитые душами, висят в подсознании. Покуда
не будет прощенья *оттуда*.
Христос? Магомет? Иегова? Будда?
Уста и устья.
Присутствие вечного Отсутствия.
Пусто място. Что мне Гекуба?
Что я Гекубе?

Мы — пара-
психологические кубки,
не чокающиеся друг с другом.
Сюда бы Шойгу бы...

На земле, забывшей про Пруста,
присутствие вечного Отсутствия.

Galande Piter Galande

Атанде. Анданте.
Убиенному подайте.

Два пальца,
двуперстие веры, которое удалили —
Дос-Пасос, Дали ли? —
российский мертвец безразмерный
со мною молиться пытается
отсутствующими пальцами.
Вверху дирижируют ангелы
отсутствующими фалангами.

Отсутствуют:

Milton Bustillo

Alexandr Ivantsov

Полисад мертвецов.

Их гнев. Их грех.

Их Герман Греф.

Их Жирик, их Рыжик.

Их антимир. Диффузия.

Их Кантемировская дивизия.

Малый бизнес

Ален Гинсберг

У, авиаизверг!

Mortan Sesanne

Мертвый сезон.

Woren Jagoda Aaron

Мы все умрем.

Лежат точно спинки от стульев,
Дожидаются дня Судного.
Присутствие вечного отсутствия.
Присутствует то, что отсутствует.

Нету ни Кеннеди, ни Сулова.
Без суетности и сутолоки.
Присутствие вечного отсутствия.
Присутствует то, что отсутствует.

В нас детство присутствует
тем, что отсутствует.
В нас Бог присутствует
тем, что отсутствует.

Nadezda умирает последней.
Рейс «Одесса—Эмираты» по средам.

С утра Камасутра. Ванная.
Показывает Останкино.
Абсурдность существования.
Уйдем, чтоб навек остаться.

Народ не только рабсила.
С этого началась
отсутствующая Россия,
присутствующая в нас.

Отсутствуют:
Jacqueline Kennedy Onassis
Клин. Лебеди уносятся.
Vlad Savinkin
Савван скинь.
Ssu-Hui-Win
Hellowin
Jean Kristoff Abdulah
Любовь умерла.
Danny Pessea
Умрем все.

Преступление. Хай-тек.
Отсутствуют 3005 человек.

**В хай-теке скрипкой пиликает
в миру интеллигильном —
последний человек — Игорь
с фамилией гибельной — Зибельман.**

Пешим ковбоем пишу по обоям.
В рифмах мой дом.
Когда Тебе плохо — плохо обоим —
двое в одном.

Ты вне общественного участия.
Век проживем.
Только вдвоем причащаемся счастьем,
только вдвоем.

Не помяну Тебя в пошлых диспутах
и в интервью.
Всех продаю. Твое Имя единственное
не оскверню.

Мысль изреченная, ставшая ложью,
сгубит себя.
Имя Твое холодит, точно ложечка
из серебра.

Так существуем, не потакаемы
сточной толпой.
Но Ты — такая.
И я — такой.

Разве поймет зарубежная клиника
наш жилой стих —
эти каракули, стенную клинопись,
стих для двоих?!

Жалко не жизни — проститься с пространством,
взятым внаем.
Страшно — придется с Тобой расстаться,
быть не вдвоем.

Сволочью ль стану, волком ли стану —
пусть брешут псы.
Наша любовь — оглашенная тайна.
Не для попсы.

ВОЗВРАТИТЕСЬ В ЦВЕТЫ!

Поэма



Как хочешь поступи.
Обрадуйся, сопя!
Я срезан по ступни.
Дарю Тебе себя.

Подставишь под струю.
В кувшине на столе
я сутки простою.
Дарю себя Тебе.

Как Ирис в неглиже
с отвисшею губой,
я рос с Тобой в душе.
Гляжу на нас с Тобой.

Уйдешь, поговорив.
Поэтому потом
на пальце, как нарыв,
распустится бутон.

В наш темный дом войду.
Нашарю дверь ключом.
Налью в кувшин воды,
что станет как крошон.

Столетия мелькнут.
Качаюсь на стекле,
как срезанный салют,
подаренный Тебе.

Швырни вниз головой
в помойную дыру...
Пока еще живой,
себе Тебя дарю.

Второе посвящение

Кто я? интеллигент —
эпохи беззаконий.
Открыл я элемент
по имени Цветоний.

В нем зверская тоска
по жизни, что иссякла.
В нем вытяжка цветка.
Но только не из всякого.

Волшебные цветы —
я Свету знал и Тоню.
Но знаешь только Ты
про витамин Цветоний.

Мы не спасемся здесь,
где римская агония.
Нам полный лепестец
без лепестка Цветония.

Ты помнишь у Светония
булгаковский прием:
плыл огненной бегонией
в плаще центурион?

Но, пронизав пунктиром
языческий туман,
нам сердце цветонировал
свет первых христиан.

Так, вне цивилизации
Светоний Гай Транквилл
времен транквилизатор,
сам не поняв, открыл.

Духовный витамин
не знают фармацевты.
Но мы с Тобой сторим
без этого рецепта.

Нас не спасет побег
от бомбы мегатонной.
Настанет человек
по имени Цветоний.

ХОР:

О чем накладная
цветочницы Ирмы?
Цветы, умирая,
владеют миром.



Накладная

<i>Кому-то наградная. Прайс-лист №</i>	<i>характеристика</i>
Роза Абракадабра ^{1,2} –	пей шампанское – у страны подагра
Розитта Вендела ¹⁷ –	Анастасия
Астра Терракота ³ –	Астральный уход Тарковского
Ромашки. Клавиши. Шопен ³⁷ –	Рюмашки пенные. Шампейн.
Челси (Абрамовича.) ⁷³ Если честно – для промоушена.	Но увлекся футболистами. Замок, флоксы, кабалистика. Пил Абрау-Дюрсо с мадам Тюссо.
Георгин ¹¹⁵	с надетой резинкой
Тюльпан сексуальный ¹⁸	тюрбан сусальный.
Дурман обыкновенный ²⁴⁶	один миллиграмм в вену.
Туман ⁵⁰³	
Душман	в чесночной чалме.
Гиацинт Перпл ²⁷¹	зябкий запах.
Нарцисс ³⁴⁸	красивый, как нацист.
Хризантема Рейган импрувд ³⁴⁸	лейкой по башке и в пруд.
Морозоустойчивая Хилари ⁵²	проза не хилая.
Покупная Моника ⁵⁷	как губная гармоника.
Подсолнух в желтой кофте ²¹⁴	женские губы в зернышках кофе.
Хризантема Ориноко	Харизматично одинока.
Хризантема Наоми Кемпбел ⁷⁰¹	на глазах у всего столетья изнасиловал ее дембель.
Тишман ³⁷⁸	майковский гашиш. Маяковский – первый шахид.

	<i>харакири стиха</i>
	Хризантему Орбакайте злит бардак на дебаркадере – На что Родину ни обрекайте – она благодарная.
	Россия велела: «Живите красиво!»
	Арест Ходорковского – наше Зеркало. XXI seaculo.
	Обезьяны пьяные. Новый год везде. Кто не пьет шампанское, тот не шимпанзе.
	Черты ли заморочили ярангу Абрамовича.
	Что рты разинули?
	в бесчестной войне.
	Геноцид прет на задних лапах.
	Взор небесный. Рост. Вес. Заглядишься – Зеркулес.
	Рейтинги врут.
	Виртуально. В муж. туалете.
	Самоубилса, святоша...

ХОР:

Это еще цветочки!

Благодарствуйте, благодарствуйте,
нам подаренные незабудки!
Вам покажет жасмин постгодаровский
Бог из дальней своей кинобудки.

Благодарствуйте под сурдинку,
розы русского абсурдизма.
Благодарствуйте, Лилия Брик,
не посаженная на штык!

Почему, где вчера разбилась
ослепленная Богом дура,
нынче вырос изящный Ирис,
словно дудочка стеклодува?

Благодарствую, что в награду,
где левкой и разрыв-трава,
наши души взойдут на грядках.
Да пребудет воля Твоя!

Благодарствую, что Ты срезал
для меня свой волшебный сад.
Благодарствую, что не сразу
свой подарок возьмешь назад.



Вьюнок

Наши муровцы — не тимуровцы.
Вечно ссорятся у корыта.
Из стреляющих лишь Амуры —
бескорыстны.

Нас конвой повезет в корзинах.
Бескорыстно, не чуя ног,
вверх над пропастью по карнизу
синеглазый бежит вьюнок.


Бескорыстно, как Цискаридзе,
странный запах над нами плыл —
сделав гранд-прыжок, приземлиться
позабыл.

И не надо быть Аристотелем,
чтобы просто грехи простить —
всех неправедно арестованных
взять и выпустить.

ХОР:

От финских скал до дальневосточных
живем тускло.
Предстоят еще цветочки
с косы по имени Тузла.

Тату зла

Каллы	Светящиеся вроде милицейского жезла.
Розы-грыш	летят снежные розы с крыш. Проза – кыш! 
Пчела,	берущая взятки.
Фикус Фокус-Покус –	запах мускуса
Роза Эскимо –	наезды на ЭКСМО
Спорынья –	не пей с ранья.
Белладонна –	цветов вялые ладони
Красавка –	страшна
Плющ –	лепестки гипертрофированные, как парики питергофрированные
Фиалка Монмартра	от Фалька до соцарта.
Лилия-отравительница –	Змея подкодная, Белой коброй сочится яд
Эдельвейс ЖСК	сорокапятитажка. Жить тяжко.
Геликонциум	к беззакониям
Бодлер	От наших подлостей обалдел.

	<p>Рубайте крамолу из санузла! Читайте Байрона, хромого козла!</p>
<p>Поза грыж. Козы гриль. Гриль овец. Прикурил. Гришковец. Гринпис. Децл. БГ, ОГИ беги, крысолов, беги! Гроссбух. Сгрыз двух</p>	<p>Грымов – принц. Осень. пора Джинс. Осы. Парад грымз. Осип. Пора в Крым! Позабыт-позаброшен. Россия – Лорелея? Шиш. Явлинский Гриш... Ша. Грезы лишь. Россия. Лето. Лотерея. Розыгрыш.</p>
	<p>вчера из Вятки.</p>
	<p>таят яд как в лучших домах Лондона.</p>
	<p>ведь ее напиток давали ведьмам во время пыток.</p>
	<p>Ядовитые споры плюща – муки паралича под звуки Петра Ильича.</p>
	<p>Когда на коне, они – Фальконе.</p>
	<p>Милая, зачем вы, Вера Холодная, вдохнули подаренный аромат?!</p>
	<p>Две башенки или два пальца над Москвою торчат грозя. Уркаган крутой пытается небу выколоть глаза.</p>
	<p>Пасть гигантского кузнечика. Красный клюв и черный свиток. Клещи гаечно-кузнечные кажут вам орудия пыток.</p>

Авиаоткрытка

Роза Блэк Баккара —
умирает, всех покоряя.

Траурные ногти —
травка из Боготы.

Черный тюльпан поэзии —
в шляпе Наполеон.
На ветках, которые срезали,
распускается бутон.

Ромашками яичными
бухариат хакеры.
Цветы русскоязычные
летят из Харькова.

Границы перекрыты,
но ищет адресата,
как авиаоткрытка,
шлагбаум полосатый.

Бывайте здоровеньки!
Пробили суржик шилом
Александр Кривенко
с Денисом Ворошиловым.

За срезанных поэтов
отмстят стихи Кривенко,
чтоб расцвели в букеты
сегодняшние веники.

ХОР:
Воды бы проточной!
Это еще цветочки.

Царице порфирной
поправит тычинки
лепестковая Ирма
с грузинской Тишинки.

Пройдут святополки,
шевченки и пестели,
останутся только
тычинки и пестики.

С Останкином, воя,
расстанутся песенки.
Останется воля
тычинок и пестиков.

Цирцеи стреляли.
И Церберы пели.
Больных исцеляли
цветы Церетели.

Забудутся узи.
Останутся фрезии.
Останется Грузия
как орган поэзии.

Компьютер всемирный
расстанется с вирусом.
Цветочница Ирма
останется в ирисах.



Ирисы

Из тубика выдавлены наглые —
как гель, но которым бреются ангелы.
За нами следят глазами имбирными
ирисы Ирмы.

Их листья, как ножницы, тянутся снизу,
срезая призы с невидимых ниток.
Что в нас нарисуют — секрет фирмы —
ирисы Ирмы?

Ирис — безумец иррациональный?
Или трезубец национальный?
Стоят кирасиры по стойке «смирно» —
ирисы Ирмы.

А ты был лифтером у аристократа.
Ты искрился риском.
Встречался с женщиной неоднократно.
Теперь она — Ирис.

Как затонувшие струны кифары,
стебли в бутылке из-под кефира.
Пытаются тину из сердца выскрести —
ирисы искренности.



Рис.

Я рисую ирисы. Стиль папируса.
Декаданс. Озирис и Фазтон.
На стене от сырости пятна в виде ирисов,
штукатурка лопается, как бутон.

Я рисую ирисы. Стебельки пузырятся.
Как подшипник Сириус. В конфорке газ.
Говорят, что ирисы не поют на клиросе,
но умеют спиричуэл спеть под джаз.

На бумаге рисовой я рисую ирисы,
а на даче Сталина в полверсты,
как шоссе, трассируют до Ассирии
обоюдоострые листья красоты.

И летят любовники Божьей милостью,
надоели абрисы трех тушек птиц.
Лилии Людовика превращаю в ирисы.
Я — консервативный анархист.

Я рис. ирис. И меня понявшая,
возникаешь, стройная, среди них —
ирисная женщина идешь, поднявшая,
как модель парижская, воротник.

ХОР:

Свинтите ветошь с посольской дочки.
Это еще цветочки.

Цветы времени
(от Элингтона до Платона Еленина)

Крестный путь Дея Розы	Как шипами по роже, на горе крови след, Кожа вспорота, Боже! Третью тысячу лет не срастается кожа.
Лютик	Золотой ключик
Умиращая роза	от невроза
Грандиолосы	Слепок живого голоса.
Порнирисы	по-парижски – виртуальная группа риска.
Бархотка	в бар хотца!
Кактус Нокия	вместо стёбаного Идеала
Подсолнух Соня	Глух к нововведениям.
Орхидея дикая –	охрелела:
Мак – <i>МК</i>	смак приматного языка
Розенбаум – телеящиком лабаем,	сахарная голова.

	<p>Это красный пунктир, изменяющий мир.</p>
	<p>Две чайных, согнув колени, у свежей могилы лежат. Их только что покалечили, чтобы не украл супостат.</p>
	<p>Прошлый век ввел радиолы и поэтические стадионы.</p>
	<p>Родинка вылезает из листа. Полноте, эротика всегда чиста!</p>
	<p>ноги, как стеганные одеяла.</p>
	<p>Я бреюсь машинкой для стрижки газона. Сквозь щеки растут сновидения.</p>
	<p>тычинки тикают</p>
	<p>Как первая «эмка» – Евангелие для эвенка.</p>
	<p>Тельняшка как шлагбаум воздела рукава.</p>

Язык цветов

Тремоло, тремолотремолот.
Дезл. Пазл. Мысл.
Требует, молит трепетно
незвуковая мысль.

Песенка без мотива,
прическа без цирюльника.
Лексика ненормативная,
как говорится, *рульная*.

Как говорится, *сюзили*,
что наш язык не постиг.
Точно на холмах Грузии
мыслящий тростник.

Пришел ко мне гость из РГАЛИ,
критик и не дурак.
Но мне васильки моргали,
что означает — враг.

Где? В Торжке? В Калифорнии?
Па-де-де? ГИБДД?.. Какофония...

ГИБДД, гонитесь за кибиткою!
Вы слышали — в лесу поют клесты?
Вы видели — на ирисах египетские
с овалами кокошников кресты?

Стрекозы очки наденут,
что означает — день.
Колокольчик смежает очи,
что означает — ночь.

Зембл. Сиу. Джипси.
Это язык любви.
Просит: оставь меня в жизни.
Что означает — сорви.

Шишига, шлѐндра, гаишница,
таможенница и вообще,
рыжая, как яичница,
в когда-то белом плаще.

Зачем тебе снова пачкаться?
Но разве ты устоишь!
Хризантемы по 40 в пачке,
и в каждой пятой — гашиш.

шишига-шишига-шишига-шишига-шишига...

гашиш-гашиш-гашиш-гашиш-гашиш...

Мафия государства

против иной структуры.

Заказчик не испугался,
мальчики не струхнули.

Насквозь буравили пули
ящички хризантем.
Яичница стала бурой,
точно яйца Eggs-ham.

Пейте, не чокаясь, марочное!
Живой лишь один Арафат.
Стриженные мальчики
лежат, уткнувшись в асфальт.



В стране идет болтанка. Не спеши.
Есть тайная ботаника души,

когда слетает семя на поля
и гибнет, биополе опыля.

Ему, зерну прозренья, все равно:
кто — гений перед ним или говно.

Что вам людей признание и суды?
Есть тайная бионика судьбы.

Есть сила ботаническая. Власть.
Как силлабо-тоническая страсть,

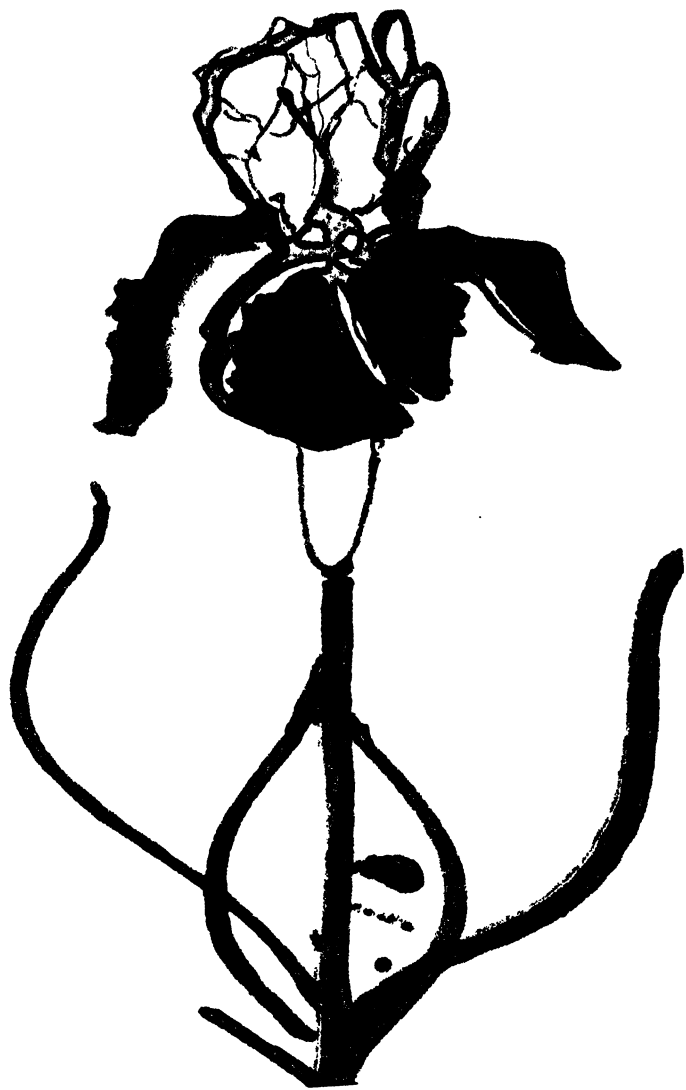
пронзающая потроха.
Есть тайная ботаника стиха.

Живу у всей планеты на виду,
но тайно в ботаническом саду,

где единением души и брюха
рождается явление Биодуха.

ХОР:

Опять безыдейные.



Цветные ведения

Б.Г.	ирис бородатый
Олег Меньшиков	без сменщиков.
Литвинова Рената сплендит	невинна, зато чревата
Земфира	дзен-мирра в джинсовые дыры глядят сапфиры
Вик. Розов	VIP для великороссов
М. Розанова	не матом единым проза нова.
В.В. Розанов	Вопросы пола
Лианозовцы	Жизнь занозиста. Слыхали РИА-новости?
Марик Розовский –	Макбет в кроссовках
Кир коров –	караоке, будь здоров!
Цветы бумажные	без эксгумации.
Лёлик Табаков	за столиком для богов.
Рестуированный театр Таирова	Вызывает всеобщее поклонение РенаТАТУированная
	К нам приехал Гергиев
Анастасия	Княжна в столетие сволочное?
Гиацинтова	Вы просто циники!

	абрис аристократа
	мир сбрендит
	Земфира, Зема, дает фору неземному семафору
	Для грызунов
	Лия ножницы проглотила. На сносях. Невинна. Родила без пуповины
	хор спецкорров.
	Жрец не цветков, но цыплаков.
	свобода поколения
	Не хватает георгинов
	А м.б. Волочкова?
	Летим над геоцентрами гробами цинковыми

Истина

Есть Оптина кустовая.
Есть Оптина пустынь.
Пусть нет еще Пушкина —
есть бутон.
Есть ирис с бородкой
наоборотный.
Цветы — это оборотни,
но без погон.

Лесные, без голоса
гладиолусы
трубят, изгибаются,
как граммофон.
Мы Красной Стрелой
несем с тобою.
Вагон — палиндром:
он говно, но вагон.

Попробуйте вылезти
на полустанке,
почувствуйте оторопь
над водой.
И опыт утраченный
русского Старчества
над вами, как ирис,
тряхнет бородой.

И это откроется
точкою стартовой,
тело отделится,
как береста.
Аскеза российского
юного старчества
полна христианского
волшебства.

Попробовать проще,
чем исподволь выпросить.
Мостки — как в коробке
карандаши.

Жизнь — это не проповедь,
а ириса исповедь
и поиск потерянной
где-то души.



Авторский отступ

Моя фамилия Цветков.
Я сторож шоу. Автор слов.
Напарник Ирмы, ток-герой
и толкователь Накладной.
Хамелеону. Что хужей —
жду миллионных тиражей.
Я был Букашкин, был готов
стать Богом. Нынче я Цветков.

*Пока автор придуряется,
дверь приоткрывается,
и из автора, как гильза из затвора,
выскакивает голова анти-Цветкова.
Ничего святого!*

АНТИ-ЦВЕТКОВ: ишь размечтался!
Лезут сквозь прайс-лист
цветы — глисты мещанства.
Я — антиглобалист.

Ломайте душистые кисти!
Безнравственен аромат.
Цветы — мазохисты,
им нравится умирать.

Камелии — проститутки.
Фрезии — самоубийцы.
Хрупкий трупик незабудки
вдень любовнице в петлицу!

Не ходите с ледорубом
к неразумному геноссе.
Подносите дамам трупы,
трупоносы, трупоносы!

Где бы вы ни поселились,
посыпайте за обедом
в пищу мощи базилика,
трупоеды, трупоеды!

Ваш фигуративный рейтинг
скособочен, скособочен.
Восемь хризантем в честь Рейгана
фиг рабочим?

Вы прайс-лист, как наградную,
чтите в нынешнем развале.
Поглядите — накладную
разорвали, разорвали!

Погляди: скелет скелету
дарит под живым нарядом
восхищенные букеты
с трупным ядом, с трупным ядом.

Все покойнички распроданы,
повези хоть вагонетку.
Нет чего-то в нас и в Родине?..
Бога нету, Бога нету.

Группы, пойте Пахмутову!
Умер рок.
Труп врага хорошо пахнет.
В нас умер Бог.

Гусеница — как подкова.
Мне снится мадам Цветкова.

ХОР:

Очень важно для цветов
удобрение корней.

Не смотрите на Святое
с точки зрения червей.

**НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ ХРИСТА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЛИСТА.**

Разрыв-трава

<p>С грузинской розой в руках идет девочка. А вдруг и правда хорошо сделается? Да будет роза морозоустойчивой. И электричество не обесточится. Свет неопознанный струится девственно. Спасибо спонсору за дар Рождественский.</p>	<p>Потрохами почувствуйте слова Патриарха. Без крови – вот кредо. Не розните красу грузинского букета! Берегитесь взрывпакета</p>
<p>Пастернак</p>	<p>Из семейства Моркови. Набухая любовью, был трапезою первых христиан.</p>
<p>Док Астров</p>	<p>Дока Ас. До катастроф</p>
<p>Роза Тевосян</p>	<p>Образ Твой осиян</p>
<p>И. Чурикова</p>	<p>иннапланетянка. оранжерея платяная</p>
<p>Жасмин+Кузьмин<Пугачева</p>	
<p>Цвета Ева</p>	

	Бонжур, покедова!..
	Из крови и мрака и общего смака к нам корни свои простирали.
	окочуришься

...Разрываю наискось Накладную,
как удар палашом от плеча до седла.
Я опомнюсь. В слезах я над нею колдую.
Между нами трещина пролегла.

Стала исповедь будто надпись настенная.
Разлетелись обрывки цветов.
Хризантема распалась на «Христа» и «антенну».
Гиацинтова стала частицей «тов».

В тебе слишком намешано —
молодой пофигизм и святая финифть!
Расширяется трещина по имени женщина.
Нас не соединить.
Ты заслушалась шершеня
над цветком Фета — Шеншина — ...
Не прервите виолончельную нить!

Я всю жизнь жду Тебя. Мусора мусорили.
Уходя, я повешу на ручке дверной
принесенные ирисы, как Муссолини —
вниз головой.

ХОР:

Сморкайтесь в треугольные платочки.
Белых ландышей озноб.
На поляночке сосредоточился,
как на плешке флэш — моб.
У сторожа лопнули порточки.
Это еще цветочки.

Эпилог

Мой гений сквозь мрак, разрывающий душу,
сказал, как судьбу подытожил:
«Я счастлив торжеству Вашему, Андрюша.
Я рад, что до него дожил».

Пристыжены годы народного Линча,
скажу, возвращая, что должен:
«Я счастлив торжеству Вашему, Борис Леонидович.
Я рад, что до него дожил».

Возвратимся в цветы. Глупо способ указывать.
Человек практически не готов.
Но ежесекундно в душе у каждого
происходят похороны цветов.

Мой сад затоптан мальтузианством,
нашествием лис и пней.
Край мой, отечество артезианское —
выше всех степеней.

Я тебе на холме у зеленого выреза
белый храм приколю наподобье цветка.
Обожаю белые ирисы!
Как их жизнь коротка...

ХОР:

Вишь, Вишнева,
не цветы лишнего.
Спасибо, Господи,
за жизни тяготы.
Это еще ягодки.



Возвратитесь к себе! На руках, как веревки,
вздулись вены, подобные проводам.
Вы из дома ушли. Вы назад не вернетесь.
Возвратитесь к цветкам!

Пусть губа расцветает не только при гриппе.
По одной хризантеме в ружейные вставьте стволы.
Возвратитесь в себя, пешеходные хиппи,
расцветайте, цветы.

Пусть все звезды цветут, от Махно до Давида,
 нелегальные касты!
 Не бывает цветов ядовитых.
 Есть лекарственные.

Пусть взъерошенный шмель Тебе в душу вкопается.
 Отражаясь в капле на лепестке,
 Ты дрожишь, как Дюймовочка в розовом капоре.
 Оставайся в цветке.

Вас за шкурку подвешат безмены.
 Как скрипичные шейки, изогнутся морские коньки.
 Люди временно смертны. И этим бессмертны.
 Возвратитесь в цветки.

Возвратитесь к тюльпанам, как к Малым голландцам!..
 Каждый мастер — кустарь.
 Ваши губы — не только чтоб матом ругаться.
 Возвратитесь к устам.

Пусть за вами пульсируют сердцебиеньем
 мастурбирующие мосты.
 Слишком долго служили вы удобреньем.
 Возвратитесь в цветы.

Пусть шоссе пролетает точильными искрами.
 Есть одна в мире истина: «я + ты».
 Живите искренне.
 Живите ирисно!
ВОЗВРАТИТЕСЬ В ЦВЕТЫ!



Зовите, трубы

Сирень беременна —
лопнул ремень палисадника.
Сирень беременна —
просела скамейка и набухли грозди.
Он бросил семью и ушел к сирени.

Сирень беременна.
Разводом пахнет.
На плащ твой, на плечи покроя шинели
прилипли две звездочки пятипалые.
Не потеряй их, мичман сирени!

Все озверели. Такое время.
Но после грозы, как свиданья после,
стоят беременные сирени.
И новым смыслом набухли грозди.

Маленькие Дюймовочки,
девочки — мойщицы стекол,
подлетают к прохожим.
Протирают очки.

На заборе сидела лошадь. Белая.
Щека ее нервно дрожала. Вернее, вместо щеки
было нутро рояля. Он был раскрыт,
и струны в нем дрожали.
Клавиатура просила сахара.
Еще б! Не такую музыку
напишешь, сидя на зубьях забора,
жда, что тебя распилят!

Пейте «Белую Лошадь» в сумерках Чайковского...

Что-то с моей сетчаткой.
Выйду из дома, сейчас же
какие-то мини-пружинки,
микроскопические дюймовочки
влетят, протирая взор.

Гнедая купалась в пруду
меж бронзовых бюстов по пояс стоящих людей.
Когда заходила по шейку,
пруд превращался в шахматные квадраты.
Бюсты превращались в пешки.

Прошла сигаретка «Мальборо», загоравшая, видно, топлес,
бронзовая по грудь.

Микроскопические дюймовочки,
потерявшие сказку дети,

играют в нас,
протирают наш взор.

Третья лошадь была под нами.
Под нами, но вверх ногами.
Видно, лошадь от другого полушария.
Две задних ее подковы
торчали из пыльной дороги.
Дорога была непрозрачной!

- А может, это бывшие большевики
сбросили памятник Фальконе?
- Нет, бывшие большевики сбросили памятник Ленину.
- Давайте своруюем лошадь Юрия Долгорукого
и продадим в Америку.
- Как шарик, — сказал Сережа.
- Как МММ, — сказали братья Гуровы.
- Как презерватив, — сказала Машутка.
- С усиками, — сказала Леночка.

Надо сходить к главному.
Вдруг это бесовские штучки?
Сказал же мне Папа Римский,
что летающие тарелки —
оптические обманы.

Но микроскопические дюймовочки —
сквозь времена дерьмовые —
застряли в моем глазу.

Мы — кочевые, мы — кочевые,
мы, очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,
чужие стены гудят, как храмы,
чужие драмы,
со стен пожаром холсты и схимники.
А ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого
и как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,
еще не выветрившиеся вполне?..

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

Вы опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
об стены треснуть сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

Затосковала душа, охромела,
позапропала — не взять под уздцы.
Волки, Ирония и Измена,
режьте ее, санитары души.

Чтоб не томила она, не страдала
там, где нашейные позвонки,
широкогрудая санитарка,
благословенно вонзи резак!

Отговорила душа, отстрадала.
Ноет стыднее болезни дурной
неистребимая, молодая
боль, именуемая душой!

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною оступой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкралась нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубках,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

Идем под Твоим флагом неменяемым,
врезая в воду лезвие руля.
Меняю лодки — флага не меняю,
выглаженного до острия.

Мы, кажется, влетаем в поднебесье.
Руль оторвет — опять не пропадем.
Стоит Твой флаг — как вырезан из жести.
Над лодкой флаг становится рулем.

Я открыл на звонок.
Стояла зеленая обезьяна.
В белых бананах.
Не пьяная...

Над миром нравственность царит.
От Сан-Франциско до Ахтырки
не Божий стыд, а обезьяний СПИД
нас обязует к жизни монастырской.

Зачем нас, Господи, призвал
не ангелом — зеленой обезьяной?
Ты выбрал дарвинский финал,
вне Богослова Иоанна.

Из зеркала у дивана
глядела зеленая обезьяна.
Включил экран —
стояла зеленая обезьяна.

— У нас на СПИД реакция положительная.
Жительницы и сожители,
пацаны и отцы,
переходите на одноразовые шприцы!

— Не общайтесь вне норм морали
с вампирами и комарами.
— Не всех подряд.
Переходите на семейный подряд.

У Интерконтиненталя и Госплана
стоят зеленые обезьяны.

Бой сословью
с голубою кровью!
Слушая Чайковского мотивы,
натягивайте на уши презервативы.

— А на 6-ом этаже (только выдержал дом бы!)
проводят испытания сексуальной бомбы.
— У, аспиды, портят расу...
— Голубые Пикассы.

Пункт пятый.
— А это кто распятый?
— Видно, кровь берут на анализ.
Такое дознались!
— А у вас, коллега,
до какого колена?

Меня обзванивает зеленая обезьяна:
«По мнению Еврипида,
только русалки гарантированы от СПИДа».

— Здесь живет Царевна Несмеяна?
Открывает зеленая обезьяна.

Будущее.
У метро «Ясная Поляна»
ждет зеленая обезьяна...

Зеленая обезьяна,
зачем нам вселилась в кровь,
сменив миллион терзаний
и заповедь: «Мир — любовь»?!

Прощай, человечество страсти.
В слезах напоследок, навзрыд,
обнимемся, сестры и братья!
А вы проверялись на СПИД?

И если кто вены вскроет,
то публика завопит
на стих, написанный кровью:
«А вы проверялись на СПИД?..»

Я открыл на звонок.
Стояла зеленая обезьяна.
В нестиранных бананах.
С плечом
в слезах и румянах.

Наваждение.

Сказала:

«Поговори со мной. Я все пытаюсь объяснить —
я ни при чем.

Вирус этот — лабораторного происхождения».

Убежала,
оставаясь безымянной.

Вы не встречались с зеленой обезьяной?

Я вышел в сад, как в состраданье.
Душа выходит из но́кдауна.
Деревья в лунном очертанье
белели полубодками.
Как будто, горбясь, брал октавы
Горовец с длинными ногтями.

Его отпущенные ногти
как будто говорят — не бейте!
Не бьют, а только гладят ноты.
Поэтому они небесны.

Он просто клал свои ладони
в открытые ладони клавиш.
Знав «лучшие дома Лондо́на»,
в родном и позабытом доме
так, глядя, плачешь, плача — гладишь.

Похожий на отца рембрандтовского,
что по макушке гладит сына...
Невидим киноаппаратами,
Бог всемогущий плачет с ними.

Кину я монетку в воду.
Ее съест подводный скат.
И Тебе электрокодом
позвонит, как автомат.

Если же не позвонят —
значит, неисправен скат.
Или съел ее мор. кот.
Он забыл московский код.

Собакалиписис

*Моим четвероногим слушателям
Университета Саймон Фрейзер*

Верю
всякому зверю,
тем паче
обожаю концерт собачий!

Я читаю полулегальное
вам, борзая, и вам, легавая!

Билетерами не опознан,
на концерт мой пришел опоссум.
И, приталенная как у коршуна,
на балконе присела кожанка.

Мне запомнилась — гибкой масти,
изнывая, чтоб свет погас,
до отказа зевнула пастью,
точно делают в цирке шпагат.

С негой блоковской Незнакомки,
прогибающаяся спиной,
она лапы, как ножки шезлонга,
положила перед собой.

Зал мохнат от марихуаны,
в тыщу глаз, шалый кобель.
В «Откровении Иоанна»
упомянут подобный зверь.

Грозный зверь, по имени Фатум,
и по телу всему — зрачки.
Этот зверь — лафа фабриканту,
выпускающему очки!

Суди, лохматое поколение!
Если не явится Бог судить —
тех, кто вешает нас в бакалейне,
тех, кто иудить пришел и удить.

И стоял я, убийца слова,
и скрипел пиджачишко мой,
кожа, содранная с коровы,
фаршированная душой.

Где-то сестры ее мычали
в электродоильниках-бигуди.
Елизаветинские медали
у псов поблескивали на груди.

Вам, уставшие от «мицуки»,
я выкрикиваю привет
от московской безухой суки,
у которой медалей нет.

Но зато эта сука — певчая.
И уж ежели дает концерт,
все Карузо отдали б печени
за господень ее фальцет!

Понимали без перевода
Лапа Драная и Перо,
потому что стихов природа —
не грамматика, а нутро.

Понимали без перевода
и не англо-русский словарь,
а небесное, полевое
и где в музыке не соврал...

Я хочу, чтоб меня поняли.
Ну, а тем, кто к стихам глухи,
улыбнется огромный колли,
обнаруживая клыки.

Мимо губ проносили зелье.
Чем закусывали потом?
Брынзы кубики прятал в зелени
нашинкованный Вашингтон.

Комендантский час

В комендантский час
лодку заглуши.
Опасной бритвой волна зажглась.
Патрули стоят
по краям души.
Отмените в нас
комендантский час.

В магазине пусто
в комендантский час.
Только у Калашникова полон магазин.
Автоматизируется
сознание масс.
В «Жигулях» летит
пулемет «Максим».

Крик крестьянки
слышится с похорон.
«Я двоих вскормила из двух грудей.
Это были мальчики
двух кровей.
Им сосок давала,
а не патрон».

Ночь глуха. Истории темен крот.
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»
И охрипший Павел взывает с ней:
«Ни эллин, ни иудей...»

От одиннадцати до шести —
в «Отче наш», в намаз,
в комендантский час —
как медянка, кровь

в нас шуршит, таясь.
Что угодно может произойти.

Где не спишь сейчас,
мой миндальный глаз?
Пополам загар разделил живот.
Кто твой предок? Скиф?
Грузин? Абхаз?
Хоть вводи в тебя
комендантский год.

Поглядишь в себя —
там такой разор.
Кровь с Душой ведут тысячелетний спор.
Две толпы сошлись
в ружьях у ручья.
Понеслась страна
центробежная...
И крестьянка в черном кричит, как рок:
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»

Как повязки глаз,
флаги черных лент.
Прости, Господи, ослепленных нас!
Третья Стража
требует документ.
Тысячелетье рас.
Комендантский час.

Служи молебен, Сакартвело,
сороковой.
Я вижу души женщин в белом
над головой.

Не я убил их, безответных,
но страшно мне,
что их убил мой соотечественник
в родной стране.

Не в Чили это послучилось.
Ком в горле встал.
Тот газ, на вид слезоточивый,
нас всех достал.

Я видел — Пушкин потрясенный,
цилиндр содрав,
на митинг наш неразрешенный
шел сквозь солдат.

От академика до троечника
мы ищем газ
с формулой лжеперестроечной.
Газ ищет нас.

Нас вел с собой, офонаревших,
по мостовой
измученный Великий грешник,
что стал Святой.

Шагал в извечной поддегаечке,
без шапки, лыс,
и венчик, точно ключик гаечный,
поверх повис.

Солдаты воплощали прошлое.
Играли Гимн.
Тот ключик крохотными рожками
казался им.

Где формула дубин резиновых,
что против свеч?
Лежат под флагами грузинскими,
чья участь — лечь.

Свечи, раздавленные гусеницами,
и детский взгляд —
в неугасимых душах Грузии
вечно горят.

15.IV.89

На несанкционированный митинг,
повторяю, Пушкин бы пришел.
Не прячьтесь в зонтики, как мидии!
Разговор тяжел.

ГЕНИАЛЬНАЯ ОШИБКА

Поэма

127 Зовите, грубы

Коронарографию делали в Швейцарии.
Точно клювы гарпии
 в сердце мне царапали.
Ищет хищный клювик
коронарографии
то, что сердце любит,
 что для сердца главное.

Мое сердце голое
 билося на экране.
И профессор Гоа
 был спокоен крайне.
Сердцу макаронные
 он готовил стенды.

*«Заходите внутрь себя!» — пригласил он меня. —
Проконтролируйте, что и как... В вашем распоряжении
50 мин., you understand, бл?»*

*Я спустился по правой ноге в артерию.
Было горячо,
как в теплоцентрали.
Ело глаза. Я шел по голосу крови.
Красящие вещества пахли йодом.
Красные шариковы пожирали белых.
«Я голос крови!» — кричал Красный.
«Яго...» — возражал пожираемый Белый.
Я шел вверх по течению,
подталкиваемый сзади кровью.
«Родная», — подумалось мне...*

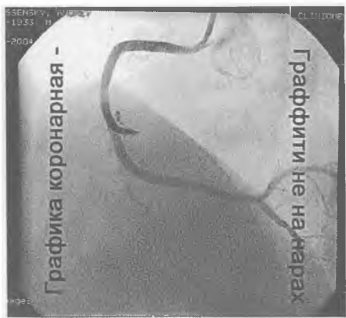
Но внезапно трещина
 взвилась молниеносно —
резкий профиль женщины,
 локон кровеносный

молодой художницы,
 всех пославшей на фиг,
 основоположницы
 коронарной графики.
 За Тебя бы финишно
 жизнь сгноить на нарах!
 Ты — моя графинюшка
 коронарная.

*Коронарная графика началась с Коро.
 Когда ветлы и сердолики затрепетали на его
 холстах, будто сентябрьское утро.
 Также заикался К-коровин.*

*Салоны нонсенса.
 Биеннале сердцебиения.*

Приставы и мистики,
 потусуйте в графике.
 Посетите выставку
 коронарной графики.



*Голос сказал мне: «Осталось 30 минут!»
 Я шел по голосу крови.
 По горячему Красному морю, как по Мертвому,
 не проваливаясь,
 Соль стирала следы прошедших.
 Капелька грузинской крови щекотала в пятке.
 «Я голос крови» — кричал победивший Белый.
 (Его звали Мышкин.)
 «Яго...» — возражал пожираемый Красный.
 И бал вампиров!*

*Пролетал Комар. Он искал Меломеда.
Они только что высосали силы из Девушки с веслом.
Искали другую.*

Макбет кровохаркал.
Каялся русский Кромвель.
Проплыл Хайдеггер —
философ голоса крови.

Ржет рок-группа крови.
Алкаш алкает.
Свистит на ветке мент вроде Алконоста.
Всюду благодарственный
акафист:
«Слава Тебе за указания
тайного голоса!»

Слава Тебе за указание тайного
смысла.
Ведро на радуге без коромысла.

За неиссякаемость
блока питания...
Слава Тебе за неугасание Тайны!

Слава Тебе, указавшему нам свет!
Может, я поэтому и поэт.

Угасанье солнца.
Угасанье сервера.
Хукасай, японцы.
Юга нет без Севера,

*Японцы рисуют так:
вынимают из себя сердечко, макают в тушь
и прижимают к рисовой бумаге.*

*Китайцы делают так же,
но прижимают к рисовой бумаге сердца врагов.
Художник рисует сердцем.*

Прикрываться листиком
зябко — мы не в Африке.

Мое сердце — выставка
коронарной графики.

*Имеем ли мы право на коронарную графику?
Подглядывать за процессами, не адресованными нам?
Каждый имеет в сердце непонятый шедевр,
но не каждый выставляет его
на глумление публики.
С нашим автором — другое дело:
он наркоман публичности и откровенности.*

Голос напомнил:

*«Осталось 30 минут!»
Мы плыли с Тобой брассом по трассе,
разряженной аспирином.
Когда я зазлебивался, Ты помогала мне.
Рядом плыл Красно-белый,
полосатый, как гусеница.
Его звали Шаромышкин.
Он кусался, безобразничал.*

Сердце затягивало,
оно рычало рядом.

Сердечность затягивала.
Сердце чавкало.
Было оно дыряво.

Как демон в рейсе чартерном,
гудят Дарьялы.
Море шлепало мокрое.
Приглашение к Фрейду.
Мокрые губы чмокали
оглашенную флейту.

Музыка налегает. Мочит.
И губы морщит.
Вселился в меня нелегалом
новый Моцарт.

Вел меня путь мигающий
меж гематом крошечных.
Внутренняя эмиграция
тяжелей, чем внешняя...

Сменим ударение.

Коронарография.

Сразу в удаление пойдет Россия.

Пляшет хали-гали

метель сквозь кальку.

Видно, олигархи

мороз накаркали!

Полотенцем вафельным

грязная дорога.

Доконало рывканье.

На Канарах мафия.

Бреют щеки граблями.

Похороны Бога.

Живем трупно. Корчимся.

Кто виновен? ФИО?

Выразиться хочется,

как Киркоров Филя.

Вас бы в удобрение,

бюрократы, в силос.

Сменим ударенье —

пойдет Россия.

«Осталось 10 минут», — сказал Голос.

Чавканье приближалось.

Не помню как, но я убил в себе Шаромышкина.

Пашло йодом. Я потерял сознание.

Коронарные граффити

слоганы в граните:

Роняет лес свой золотой багрец.

Начнем дождор. Пластилин конец.

**БОРЬБА ЗА МИР
(РЕАСЕ)+ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ=ПисТЭЦ**

*Голос сказал, что сеанс закончен,
и выставка закрылась.
Дальше он перешел на онучи.*

Я очнулся.

До свиданья, выставка
коронарной графики!
Возвращаюсь к выстрелам
подмосковной мафии.

До свиданья, выставка,
до свиданья.
Может, слишком выстрадавшая,
да святая.

Мне медбрат с улыбочкой
 конокрадную
сообщил ошибочку коронарную.

Резюме подшито
 и пронумеровано.

КОРОНАРОГРАФИЯ

**«Диагност ошибся.
Сердцем Вы здоровые.
Пейте кофий с граппою!»**

Гоа, спев: «Я — Гойя!»,
 прорыдал по рации:
«Сердце молодое!
 К черту операцию!»

Что ж меня Вы мучили,
 Ален в тоге кожаной,
введя дозу мутную местного
 наркоза?!.

Коронарографию
 Ты собой заклинила.
Клиника проштрафилась.
Погорела клиника.

Сколько стоит в долларах
 коронарография?
Разве это дорого?
 Разве это главное?

Всунув в сердце паклю,
 разевайте уши.
Наши в центре Бакулева
 сделали б не хуже.

Родина болеет.
 Над лесною лентою
Центр, вонзаясь, белеет
коронарным стендом.

Лимузины — ксероксы
 с колесницы Ксеркса.

Жаль, что дверцев нет.
У поэтов вечно молодое сердце.
Может, я поэтому и поэт.

Ты живешь в моем сердце,
 сжав аорту, как кукиш.
Обманулся диагноз
 пролетающих лет.
Ты живешь в моем сердце,
 точно бабочка в куколке.
Может, я поэтому и поэт.

Ты живешь в моем сердце.
 Жизнь не может быть длиною.
Ты — мой мобиль перпетуум.
 Через века
люди коронарной графики
 завопят: «Какая линия!»
Мы с Тобой бессмертные. Пока.

Пока в небе агнец,
 как дымок от «Шипки»,
главное в диагнозе —
право на ошибку.

Право на ошибку
было у Сусанина.
Чту романс «Калитку»,
а не Гимн сусальный.

Нищему за скрипку
расплатитесь «мерсом».
Право на ошибку —
это правда сердца.

Верую в Твой модуль,
сменив обшивку,
мой перпетуум мобиле —
вечная ошибка.

Живите колокольно,
грешно и сердечно!
Как тот алкоголик,
что мастерит скворешни.

Храмики турбазы,
чтоб птенцы не мокли,
за нами одноглазо
следят монокли.

По логике, в Геенну
несемся шибко.
Спасет нас офигенная
чья-нибудь ошибка.

Вертолет пьет небо
зубом графа Дракулы.
Без ошибки б не было
коронарной графики.

Без кривой улыбочки
санитара Алена.

**ЖИЗНЬ МОЯ — ОШИБОЧКА
ГЕНИАЛЬНАЯ.**

Думайте поступками

Первый снег

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми,
с нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,
все после нас...

С неба тяжелого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К черту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?

Туля

Кругом тута и туя.
А что такое — Туля?

То ли турчанка —
тонкая талия?
То ли речонка —
горная,
талая?

То ли свистулька?
То ли козуля?
Т у л я!

Я ехал по Грузии,
грушевой, вешней,
среди водопадов
и белых черешней.

Чинары, чонгури,
цветущие персики
о маленькой Туле
свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались.
И все, что успели,
столкнулись — расстались
на Руставели...

Но свищут пичуги
в московском июле:
«Туиг-
ту-ту-
туля!
Туля! Туля!»

1958

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опеки,
и так весною поросли
пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

Где пьют, там и бьют —
чашки, кружки об пол бьют.
Горшки — в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чье-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелегкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?

Где пьют, там и льют —
слезы, слезы, слезы льют...

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометей.
И пленных не будет.

Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

Родившиеся в хлеву —
не обязательно коровы.
Христа, к примеру, назову.
И Блока с отблеском Авроры.

Ну почему он столько раз про ос,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»

Любовь и горе — вне советов.
Наглеющая верхоглядь,
великих женщин и поэтов
не вам учить или понять!

Когда поэта в гробе мчали,
осталась дома Натали.
Горизонтальная Наталья
летела с ним за край земли.

Б. А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска,
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно — печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеется искося.

Н. Искренко

Я подошел к мужчине.
Во лбу — в щель морщины,
всунул кредитную карточку.

Забурчало.
Зафурыкало.
Неисчислимы богатства человека!
Очнулся в Склифе.

Врач: «Вижу, вижу...
но «Визу»
надо совать в Мону Лизу».

Колесо смеха

Летят носы клубникой, подошвы и трико.
А в центре столб клубится —
ого-го!

Смеху сколько —
скользко!

Девчонки и мальчишки
слетают в снег, визжа,
как с колеса точильщика
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит
министров и портных,
им задницы занозит
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.

Слетаю метеором под хохот и галдеж...
Умора!
Ой, умрешь.

Лунатик цифири,
одетый в белье.
Бельмо Велимира —
всевидящее бельмо.

Радиоактивный слепец,
что ты внес Одиссею в программу?
Опускались столетья с небес
на библейскую плешь Мандельштама,
раздирая на просеки лес
Мангышлака или Магадана.

Ни лох, ни хор колоколен, —
Холин,
который кишки выкидывал
сквозь лагерные табу...
Меж нами мертвец Великий
ходил в вертикальном гробу.
Был вежливее Берроуза
в березовом скиту.
Лианозовская заноза
оставила хрипоту.
Пророк городской природы...
Оборванный разговор,
как надпись на водопроводе:
Хол. — Гор.

На Вас альпийские волосы —
как преображенный парик,
за которым угадываются
камзол и коса,
девичьим румянцем лицо горит,
а глаза —

они венецианские, я бы сказал,
Вам предшествует приход синевы.
Сначала синий заполняет зал.
А спустя минуту
являетесь
Вы.

Однажды Вы спроектировали
бабочку-стадион,
который летал на игры
на конструктивной раме.
Игроки и зрители размещались в нем.
Вам сказали:
«Рано!»

Но никогда не рано прийти впереди себя
и в душах неподготовленных
смущение учинить.
Спокойно уйдет по воздуху
поторопившаяся стопа.
Я — Ваш, Леонид Николаевич,
незадачливый ученик.

Думайте поступками

Не хватает жизни,
чтобы жизнь обдумать.
Вывод афоризма —
головой об тумбу?
Думайте поступками,
думайте разлуками,
дудками пастушьими,
встречами разутыми,
в поезде камышинском
думайте платформами,
станьте злоумышленниками
чудотворными!
Гениальней саженец,
чем идея саженца.
На случайной станции,
побледнев, высаживайтесь.
Помните, события —
это мысли жизни.
Мысль моя забытая,
ты вбежала сызнова.

Под утро ты придешь назад
в обиженные стеллажи.
Зачем ты, человек, скажи?
Скажи, что нечего сказать!

Попавший человек в грозу
и жизни Божью благодать,
что в оправданье я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как объяснюсь в ответ стрижу,
горе, кормящей двух козлят?
На языке каком скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как предавался мятежу,
что обречен на неуспех?
Как предавался монтажу
слов, что и молвить не успел?

Вот поброжу по бережку
и стану ветерком опять.
Что человеку я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Вот только взглядом провожу
твою безоблачную прядь.
Что на прощание скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Горный родничок

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка

 к колонке
сбегают напиться

и талия блещет
увертливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая челка
с водою лопочет

две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут

 девчонка?
и кто тут родник?

У речки-игруньи
у горной глазури
березы
 в Ингури
березы
 в Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
березы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
до ночи
 лежу

сумерки сгущаются
надо мной
 белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
 прожекторами
салюты над Москвой

Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение в Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.

Я думаю — толпа иль единица?
Что длительней — столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновение длится.

Я думаю...

Тоска

Который день на койке латаной,
отвратный самому себе,
лежу ничком, как перекладина
к моей оконченной судьбе.

Рецензию на Ваши «Три травы»
мне заказал отдел «Литературки».
Не теоретик я, увы,
но от статьи не ретируюсь.

Я помню — Вы пришли после цинги
в глушь
пастернаковской
усадыбы,
переминаясь,
как гонцы,
травинку грызли виновато.
Так нанимаются в косцы
не ради платы — для услады.

Кому рояль, кому гобой,
кто оркестрован как Стравинский,
а Вы циножною губой
играли соло на травинке!

Вы с Винокуровым пришли.
Хозяин вел Вас по тропинке...

Виолончелили шмели
за комариною травинкой.

Хозяин умер через год.
Сегодня в криках «шайбу! шайбу!»
я вспоминаю Ваш приход
и соловьиною усадьбу.

Ах, заварите три травы,
чай пахнет шишкой и шишигой...

Вы выстрадали. Вы правы.
А это более чем книга.

Не люблю а-ля рюсских выжиг,
эклeктический их словарь.

Обожаю чай. Ненавижу
электрический самовар.

Не надо околичностей,
не надо чушь молоть.
Мы — дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантомании
и скудости ума.
Отцам за Иссык-Кули,
за домны, за пески
не орденами — пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как бомбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой
горели на заре
венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутью
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы — сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужество амнистий
и сорванных замков.

Распахнутые двери,
сметенные посты.
И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нет «физиков», нет «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!

И, оттаивая ладошки,
поэтессы бегут в лотошницы!

Ну, а ты?..
Уж который месяц —
в звезды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.

И опять и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышленищ,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся, стоишь!..

Кто ты? Кто?! — Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна — но где ты там? —

припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой в толщах снега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

В войну мы были маленькими.
Мы были ростом с валенки,
точнее с сапоги —
кирзовые, брезентовые,
скрипучие, бессмертные,
добытые с убитого,
с товарища ноги.

В чем мерка поколения?
Что взрослым по колено,
их горестные броды,
то нам под подбородок.
Мы дети-сапоги.

Мы научились многому —
быть парой одноногую
среди ночной пурги.

Когда любили матери,
нас клали за кроватями.
«Сними-ка, помоги».
Мы были с ними вровень,
отмытыми от крови —
кто с ложкой, кто почище —
с ножом за голенищем,
со скрипом за две тыщи,
за Вислу от Мытищей
свистали каблуки!

Делились с нами опытом,
разбитые Европою,
с отставшими набойками,
не знавшие Набокова,
но с Богом коротки.

Вздыхали их гармошки
про стежки и дорожки
неясной нам тоски.

Отсюда наши пешие,
проселочные, спешные,
не в кабинетах спетые,
а на ходу — стихи.

Отсюда семимильные,
как через поле минное,
порой непоправимые,
но верные шаги.

После фильма «20 лет спустя»

Атосы. Портосы. Арамисы.
В атаку! На приступ! Не срамиться!

Былые задиры ушли в дезертиры.
Иных убили — иных купили.

Атосы. Портосы. Арамисы.
Тосты. Потомство. Компромиссы.

Прославленная тень!
О чем кричит надсадно
пластинка — как мишень,
пробитая в «десятку»?

Был он мой товарищ по классу,
бросил школу — шофером стал,
и однажды, вгоняя в краску,
догнал меня самосвал.

Шел с мячом я, юный бездельник.
Белобрысый гудел, дуря.
Он сказал: «Пройдешь в академики —
возьмешь меня в шофера».

И знакомого шрама гримаска
подняла уголок рта —
так художник сдирает краску,
где улыбка вышла не та.

И сверкнула как комментарий,
на здоровом зубе горя,
посильней золотой медали,
золотая «фикса» твоя...

Жизнь проносится — что итожить?
Отчитываться не привык.
Я тебе ничего не должен.
Что гудишь за мной, грузовик?

Я ли создал мир с нищетою
и отца расстрелял войной?!
В этой жизни ты был теневою,
я ж, на вид, иной стороной.

Пол-ломтем обдирного хлеба
полукруглый встал ветровик.
На ступеньку ты ближе к небу
был, чем я, вскочив в грузовик.

Мой товарищ поры начальной,
каким стал? Почему позвал?
Почему мне снится ночами,
что попал под твой самосвал?

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены влепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

Все возвращается на круги свои.
Только вращаются круги сии.

Вот вы вернулись, отмаявши крюк,
круг разомкнулся — да был ли тот круг?

Годы чужие. Жены чужие.
Вам наплевать — вы на них положили!

Ах, усмехающееся «увы»
круга невинности, дома, любви...

Все бы сменял, чтоб узнать на лице
снег твой несмятый
на раннем крыльце!

Среди авралов и аварий

Зеркало над казино — как наблюдающий
разум,
купольное Оно.
Ход в Зазеркалье ведет,
называемый «кошкиным лазом».
«Людям воспрещено!»

По Зазеркалью иду (Пыль. Сторожа
с автоматами.) —
как по прозрачному льду... Снизу играет толпа.
Вижу затылки людей,
словно булыжники матовые.
Сверху лица не видать —
разве кто навзничь упал.

По Зазеркалью ведет
Вергилий второй эмиграции.
Вижу родных под собой,
сестру при настольном огне.
Вижу себя под собой,
на повышение играющего.
Сколько им ни кричу —
лиц не подымут ко мне.

Вижу другую толпу, —
уже не под автоматами, —
мартовский взор опустив,
вижу другое крыльцо,
где над понурой толпой ясно лежала
Ахматова,
небу открывши лицо.

О, подымите лицо, только при жизни,
раз в век хоть.
небу откройте лицо для голубого неба!
Это я знаю одно. И позабудьте Лас-Вегас.
Нам в Зазеркалье нельзя.

Хороши, как никогда,
мартовские хохота!
Выходите хохотать —
комы снежные катать.
В лица вражеских атак
научитесь хохотать,
не по поводу — а так!

Завтра 1-е апреля.
Скажут: «Хиль звончее Брея»,
рестораны вмиг окажутся
все отличнейшего качества.

А сегодня — хлопья эха,
завалило трассу смехом,
выходите хохотать —
в зад автобусы толкать.
Хохот хорошо с лимоном,
хохма — мудрость миллионов.
Дурак может укатать,
но не может хохотать.

Эти хохоты свободы
завершает лепота —
благовещенских соборов
золотые хохота.
Выбегай похохотать —
слезы мехом утирать.

Сколько лет мы не смеялись,
сколько было бедных дней
без смешливости сияльной,
бриллиантовой твоей!..

Хороши круговороты!
Снегом душу ототрем.
Все условия для полета:
минус 40 за бортом.

Отставший лебедь

(на мотив Махамбета)

Я последний твой лебедь, Азия!
Отстал.
Мне слезами глаза завязаны,
мои крылья в лазури завязли.
Немота на моих устах.

Мой вожак и народ погибли.
Чужаки на моем пути.
Ястреба,
 журавли,
 колибри,
помогите своих найти!

Где ты, родина, под туманом?
Отыщи меня хоть стрелой.
Закричав от смертельной раны,
я б узнал, что мой край живой!

Я матерый, ветрами тертый.
Но бессмысленно одному
горло драть и месить синеву.
Я живой, но мертвей, чем мертвый.

С этой нотою недоношенной
между жаворонков и синиц
лебединое одиночество
сложит крылья
и канет
вниз.

Всходы страшных семян.
Вот и век прошумел.
Ваш герой — Шаумян,
наш герой — шоумен.

Я шустрил шестеркой
возле короля.
Нюрка в Нью-Йорке,
выпей за меня!

Выпей виски с содовой
и «Черные глаза»...
Жаль, что со «Свободой»
чокнуться нельзя.

Красен от разборки
снег, как простыня...
Нюрка в Нью-Йорке,
выпей за меня.

В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.
Из них одна
Ульянову посвящена.
«Секвойя Ленина?!»
Агу!
Столпотворенье, как в аду.
«Секвойя Ленина?!»
Как взрыв!
Шериф, ширинку не прикрыв,
Как пудель с красным языком,
Ввалился к мэру на прием.
«Мой мэр, крамола наяву.
Корнями тянется в Москву...
У!..»

Мэр съел сигару. Караул!
В Миссисипи
сиганул!

По всей Америке сирены.
В подвалах воеет население.
«Секвойя?! Вурдалаку лысому?»
Пакует саквояж полиция.
Несутся танки черепахами.
Орудует землечерпалка.
.....
Зияет яма в центре парка.

Кто посадил тебя, секвойя?
Кто слушал древо вековое?

Табличка в тигле сожжена.
Секвойи нет.
Но есть она!

В двенадцать ровно
ежесуточно
над небоскребами
светла
сияя кроной парашютовой
светя
прожектором ствола
торжественно-озарена
секвойи нет
и есть она

вот так
салюты над Москвою
листвой
таинственно
висят

у каждого своя Секвойя
мы Садим Совесть Словно Сад

секвойя свет мой и товарищ
в какой бы я ни жил стране
среди авралов и аварий
среди оваций карнавальных
когда невыносимо мне

я опускаюсь как в бассейн
в ее серебряную сень

ее бесед — не перевесть...

Секвойи — нет?
Секвойя — есть!

К барьеру!

(на мотив Ш. Нишнанидзе)

Когда дурак кудахчет над талантом
и торжествуют рыцари карьеры —
во мне взывает совесть секундантом:
к барьеру!

Фальшивые на ваших ризах перлы.
Ложь забурела, но не околела.
Эй, становитесь! Мой выстрел — первый!
К барьеру!

Бездарность славословит на собранье,
но я не отвечаю лицемеру,
я пулю заряжаю вместо брани —
к барьеру!

Отвратны ваши лживые молебны.
Художники — в нас меткость глазомера —
становимся к трибуне и к мольберту —
к барьеру!

Строка моя, заряженная ритмом,
не надо нам лаврового венца.
Зато в свинцовом типографском шрифте
мне нравится присутствие свинца...

Но как внезапно сердце заболело,
и как порой бывает не под силу —
когда за гранью смертного барьера
жизнь пахнет темнотой и апельсином...

Спи, родная. Как страшно время!
Чуть трепещут от легких снов
под глазами юными тени —
тени будущих пятак.

Другу

Мы рыли тоннель навстречу друг другу.
Я руку его узнавал по звуку.

Но кто-то взял влево, а кто-то вправо.
Любовь оглушила, а может, слава.

Над нами шумят поезда и тюрьмы.
Всё глуше удары в кромешном трюме.

От едкого пота губы солони.
Мы роём тоннель — но в разные стороны!..

Потомки в двух темных найдут тупиках
два белых скелета с киркою в руках.

Поминки с сенатором

Отпевали сенатора ХХ,
отпевали еще живого.
Тыща долларов за тарелку.
И виновнику дали слово.

Ухватясь за свои тарелки,
мы слетались на отпеванье,
постарев, опустив гляделки —
ненасытные упованья!

Он замученно улыбался,
тезка хохмы и тезка века,
как подтаявший ком лобастого
и готового рухнуть снега.

Была слава ему догробна,
вез его самолет престижно,
но худел на глазах сугробик,
называемый просто жизнью.

Я подумал о жизни этой,
что не знает границ и платьев.
Шел другой сенатор, отпетый,
заслоненный от пули братьями.

До свидания, век ХХ,
до свиданья, сугробик вешний,
до свиданья, разбег досадный,
двухкрестовый аллюр обещанный.
Отпевает нас Фрэнк Синатра.

Словно ввели в христианство тебя,
роща, омытая будто язычица.
Как звонко эхо после дождя!
Как после слез твое сердце отзывчиво!

Остерегите истеричек!
Топя народы, как слепых котят,
со скоростью зеленых электричек
ночные волны к берегу летят.

Пред ужасом несущегося Времени
в купальнике, стремительном как стриж,
как в ожиданье поезда Каренина,
на беспощадном берегу стоишь.

Медновзметенная гора,
которой ужаснулся Пушкин,
танковый памятник Петра
грозит опущенною пушкой.

Елка упала всеми подолами
в радуге лампочек в доме чужом.
Елка хмельная уставилась с полу,
ноги закинув тесовым крестом.

Утром срубил я тебя, браконьерствуя,
в гулком лесу.
Крякнул короткий топорик армейский,
в дверцы втокнули тебя на весу.

Что ты наделало, пьяное дерево!
Свет пережгла, не смущаясь ничуть.
«Если хотите, чтоб все — как до этого,
можете дом свой перевернуть».

Что ты наделало, глупое дерево!
Можно ли выдержать в сердце лесном,
что и людскому уму не доверено —
темные смены пьяных времен?

Как золотят купола
в строительных легких лесах —
оранжевая гора
стоит в пустынных лесах.

Уже золотить пора бы.
Да запили мастера!
Горит грунтовкой оранжевой
окрашенная гора.

Кто на землю обетованную,
кто в Дубай летит на серпе.
Волей Божьей еду в Иваново —
в новогодний подарок себе.
Вся страна торчит на теракте.
Тем актерам несут кредит.
Я согреюсь душой в театре,
что сегодня без средств горит.
Сдам на вешалку хлопя и копоть.
В зале женщина ласковых лет
будет воздух ладонями хлопать,
как оладьи, которых нет.

Те несбыточные оладьи,
меж ладоней кричащий свет,
подадут и мне Бога ради
ту надежду, которой нет.

Озера летние от стужи сбрендили.
Уснули лебеди,
словно крендели.

Малина и крапива.
Зеленое и розовое,
дурнушка и красивая!
Подружки инородные.
А позади береза
закинута пугливо,
дрожа от ягод розовых,
как ноги от крапивы.

Друзьям-юбилярам

Полтинники шестидесятников!
Записывайтесь на багет.
Не стань банкетною гусятиной,
Синяя птица наших лет!

Рембо перед зеркалом

РЕМБО ОБМЕР
ЗЕРКАЛО ПОЛА КРЕЗ
ТЕЛЕКС СКЕЛЕТ
ОВИР КРИВО
ЦЕМЕНТ НЕМЕЦ
А НА НЕБЕ...

Зачем я пришел к пергаментному Мишо?
для рифмы на «Хорошо»
смешно
тайный кайф просвечивал сквозь
целлофановый мешо
и кофе на посошо

Время чейнджа.
 Ты — тамбовская казначейша.
 Сидишь в окошечке,
 как в кокошнике.
 Пока не укокошили.

Все салоны
 обсуждают твои нерублевые зоны.

Время — деньги. По курсу обмена.
 — Разве это деньги?
 — А разве это время?

1 амер. минута.....русский час (почему-то),
 1 мин. Менухина.....1 м² Немухина,
 1 мин. с Вашингтоном (по коду).....ваш год работы,
 1 Минфин.....1 Минкульт,
 3 дня путча.....1 пуца,
 Беловежская (в старых р.).....70 лет СССР,
 по новому курсу.....70 лет URSS'а,
 идите.....товарищи, по верному курсу!
 1 час по-вашингтонски.....9 час. по-пошехонски,
 рейтинг хунты.....упал на 4 пункта,
 биде Армани.....беда с кормами,
 вероятность бунта.....снизилась на 2 пункта,
 Белый дом.....белый до,
 тугрики.....не обмениваются на доллары Сибирской
 республики,
 1 девушка 91-й пробы (на мисс Европы).....деньги
 вперед чтобы,
 1 SOS.....миллион алых роз,
 1 сек.....и вы в небе навек.
 — Я — иксчейнджец.
 — Чеченец?!..

Ты в стекле. Как шедевр Виченцы.
Недоступна для черни.

Улыбнешься улыбкой изнеженной,
проверяя на свет века:
«Смысл женщины — быть иксчейндженной
на валюту или меха».

У самой на обед нет времени.
Кипятильник сообразишь.
И машинка времени веером
направляет ход чужих тыщ.

Ход держав, минут засекреченных
просматривая на свет, —
смысл женщины — быть иксчейндженной! —
вертит женщина легких лет.

— А в Филях на минуту больше дают,
но ехать туда 45 минут.
— Икс червонцев, х... конкурентке, —
как сказала чаровница Искренко.
Другой сказал певец печали:
«Печально. Деньги Дух изгнали.
Печально я гляжу на наше пополнение».
И спрыгнул в Терек.
Умрем за демократию денег!

Я люблюсь на твое личико.
Есть ли у тебя нога?
Непрозрачна боль твоя личная,
запудренная, как Дега.

Ты как знак водяной. Но чей же?
Кто стоит за твоей спиной?
Смысл женщины — быть иксчейнджем,
превращая дерьмо в иное.

Что Дега?!
Дима Врубель делает картину под названием «Деньга».
Что «Демон»?
Лева Рубинштейн делает оперу под названием «Деньги».

Поэзия — деньги дегенератов.

Ты — без проблем.

Ты списываешь номера в тетрадку:

«А. С. Пушкин..... 1799—1837

Д. А. Пригов.....194022 (далее ясно не совсем).

Пригородный (Кратово)..... 19.10, 19.34, 19.57»

— Вы за чейнджем?

— А за чем же?! — Я — портмоне.

5 мин. осталось во мне —

винута, обманута, шизанута, сенькьюта, цикута —
достанусь кому-то?

— Как вы сказали — «партмани»? Мы за вами.

— А я себя поставила на охрану. Вою непрерывно.

— А я в себя вставил ограду

от Летнего сада.

Хожу, как зебра.

— А я вроде сберба-

нка. Все меня затрахали... Я стал банк спермы.

— А у нас в Берму-

довлетворительном треугольнике

все в порядке. Мы все покойники.

— А ну, все по койкам!..

Разменяй, променяй, обменяй,
что не вписывается в номиналы!

Сущность женщины — быть менялой.

Измени ему, мир изменяй,

как Елена, дочь Менелая!..

Звездани по стеклам сберкасс,

различи в человеке поэта,

Ну, хоть час разменяй, ну, хоть Час-

тную жизнь, что не только газета.

Просмотрев из зеленых век
девальвированные нации,
обменяй замусоленный Век-
сель под номером 20.

Через шорох наших косых,
как под Запад бы ни косили,

сквозь фальшивую эту ассиг-
нацию проступает Россия.

Приду завтра с минутой натальной
и скажу тебе, как гимназист:
«За одно мгновение твоих нездешних денег
возьми мою подержанную жизнь».

Но уже выбегая к лифту,
в передаче «Человек и закон» —
я узнал любимое личико
с вывалившимся языком.

Разменяли тебя, разменяли!..
Времена. Имена. Трибуналы.
Ты смеешься улыбкой исчезнувшей:
«Смысл женщины — быть иксчейндженной».

Ха-ха-ос

Да не в мелодии —
на сердце пауза.
В душе колотится
махаон хаоса.

Как демон в мантии
«онорис каузе»,
над нами мается
махаон хаоса.

И не откупишься.
И не покаяться.
— Чем ты пудришься?
— Пыльцой хаоса.

И не откашляться
от Штокхаузена —
в путях дыхательных
першит от хаоса.

В наши ха-казы
взгляни: окажется
в глазах у каждого
пылинка хаоса.

Помощь явная — тщеславная,
чтобы видела толпа.
Верх тщеславья — помощь тайная,
перед Богом похвальба.

Балтийская тюленица

В море Балтийском тюленица выла,
молит красавица преисподней:
«Матку сожгли мне полихлорбифенилы.
Тюлени больше не воспроизводятся.

Не откажите балтийской тюленице!
Нас только сто на все море и водоросли...»
Что ты наделала, интеллигенция?
Совесьть больше не воспроизводится.

Рвался Петр I к Балтийскому морю,
но неужели с пророческой силой
рвался к насыщенному раствору
полихлорбифенила?

Мчатся эпохи и царства всмятку.
Я за прогресс, не за извозчика,
но атрофированная ее матка
природой больше не воспроизводится!

Вон она в море молит тюремщиков:
«Родить бы тюленчика!
Вы, человеческие сестрицы,
это когда-то и с вами случится!»

Новое явится Благовещенье.
Голубь спланирует к Богородице.
Но отвернется тихая женщина.
Человечество больше не воспроизводится.

Бросками кроля в темном море,
когда плывешь ты на закат,
с тобой, как вспышки ореола,
круги брусничные стоят.

Куда ты ни переместишься,
какую мне ни шлешь беду —
я видел диски аметиста.
Я плыл с Тобою в их свету.

Скорая помощь

Зое

Меж вежливых скорпиониц
и велеречивых вельмож,
с короткою стрижкой скорпомощь,
вблизи от несчастья живешь.

Влетаешь в судьбы летальные
родившаяся — помогать,
над миром горизонтально
летающая, как гамак!

Поминки и юбилей.
Господень пуст банкомат.
Убогие просят елейно,
как будто Ты — Богомать.

Я из состраданья болею,
чтоб было кому помогать.

Когда ж о своих болях вспомнишь?
Мороз. Отдохнула б в тепле.
Замученная скорпомощь,
кто только поможет тебе?

Клонируйте, потц, овечек!
На корточках пляша,
я — только Твой подсвечник,
нескончаемая душа.

Предшествующая творенью

Используйте силу свою.
Мы гости со стороны.
Вы бьете по острию.
Я гвоздь от иной стены.

Мне спину согнули дугой,
по шляпку вбили вовнутрь.
Я гвоздь от стены другой.
Слабо вам перевернуть?!

Битый ноготь черней, чем деготь —
боязно глаз впереть.
Назад невозможно дергать.
Невозможно — вперед.

Вы сами в крови. Всё испортив,
ошибся конторский вождь.
Сияет стена напротив —
та, от которой я гвоздь.

Я выпрямлюсь. Я найду.
Мы гости иной страны.
По шляпку в тебя войду —
я гвоздь от твоей стены.

Яблокопад

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью.
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещенье —

мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,
осень стояла. Дом конопатили.

Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых,
тебя представил я гостьей якобы.

Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.
Среди диванов глаза просили:
«Сенца бы!»
Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьице,
что, забывшись, влюбишься, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетал. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжищ?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задуешь,—
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!

За гениальность твоих натурщиц,
гневным затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —

мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр современный!
Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок так во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
за безмянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

В каждой веточке бусинка боли
сверху листиком оснащена.
Золотые, как будто бемоли,
сыплет осень на нас семена.

Они впились в твой шарф полосатый,
зацепились в твоих волосах.
Тебя сделали музою сада.
Я не знаю, в каких ты садах.

Люблю неслышный почтальона
вечерним солнцем полный напослед,
прозрачный, словно ломтики лимона,
пронзительный велосипед.

Вор воспоминаний

От тех времен ключи еще лежат.

Я отпер дверь, как триста лет назад.
Я свет зажег. И озарились снизу
под потолком протянутые в ряд —
как яйца в холодильнике — стоят
ионики ампирного карниза.

Я вор воспоминаний. Где хранят
предметы чувства в тысячи карат?
куски тоски? и хризопраз каприза?
Где ты их держишь? Тюбики помад
меня не узнавали. Вырыт клад.
Мое письмо торчало из корзины.

(В чем твоя тайна? В красоте? Наверяд
ли. Но, как говорят, в х а р и з м е —
в том властном шарме, что имеет в жизни
власть над людьми. От дома до эстрад.)

Был тепл уют. Шел терпкий аромат
халата. Твой салат кончала крыса.
«Сестра, — успел подумать, — я твой брат!»
И запустил ключами по карнизу.
И скорлупа посыпалась в салат.

И сразу трясануло укоризной
в сто киловатт. Ионики трещат.
И вылупились — мне не объяснят
как — тыщи птиц, горластых, белых, сизых.
«Ты виноват! Ты виноват! Ты виноват!
грабитель гнезд!..» Толкаются, кричат.
И пачкают издания Совписа.

Я узнаю вас, страстный зоосад —
 вожак тоски, слепые самки шиза,
 подстриженные крылья божьей жизни
 и сострадания мокрый снегопад —
 как мы кормили чаек в Симеизе.

И ты войдешь с коронною репризой:
 «Так твою мать! Опять в квартире ад».

.....

«Вы к Лизе?

Ах, прошлая хозяйка анфилад?..

Та съехала. В загранку, говорят.

Дом на сигнализации». Наряд

милиции подымался снизу.

Я дверь закрыл как триста лет назад.

Омытые светом деревья
просвечивают в тиши,
как будто гусиные перья —
только пиши!

Твое белое платье влюбленно
в небо лифт повезет,
словно внутреннюю колонну,
на которой стоит небосвод,
на продолженном твоём платье
внутри здания — с лейблом Леви,
на спинном мозгу мироздания,
и единственно — на любви.

Милый моряк, мой супруг незаконный!
Я умоляю тебя и клянусь —
сколько угодно целуй незнакомок.
Всех полюби. Но не надо одну.

Это несется в моих телеграммах,
стоном пронзит за страну страну.
Сколько угодно гости в этих странах.
Все полюби. Но не надо одну.

Милый моряк, нагуляешься — свисти.
В сладком плену или идя ко дну
сколько угодно шути своей жизнью!
Не погуби только нашу — одну.



Купола.
Акварель. 1957 г.

Коронарная графика.

Подлинная пленка из клиники

Сесиль (Лозанна), 2004 г.



07-2004

эклектика? губы? мы-

Мышки в клетке?

Точки души?



EF = 86 %
SU = 91 a1

EQW = 1.05 m1
ESU = 8.4 m3

CLIP/TOUR/CECIL

OPD

30

CPUC

4

SED.

9

11

45

12-05-1933 П
21639
13-07-2004

ТОНИК ТОНИК ТОНИК ТОНИК ТОНИК
НИКТО

НИКТО НИКТО НИКТО НИКТО НИКТО

GIN TONIK

Dr. Gou

ORIG
4+

CAUD
1

SEO.



Я писал "Треугольную грушу", для своей страны непристоен.



The tear of the Sermon on the Mount
Слезы исповед...
Миллионам открыла
треугольная
Sharon Stone.

Миллионам открыла
треугольная
Sharon Stone.
Старый клоун,
Миллет,
не достают,
бесстыдливо
опытностью
уже Шарон Стоун.
Над правами и над
окупишь.
в знак протеста,
что о похвалит
слова
доверять?

Слезы исповед...
тайны горничных телефонистка,
Шарф насилие -
псалмом Христовым.
Аллегория
у нас на плаксивость.
Террористка вместо
властиде
ищет истину на
пространках.
-шарм со стороны
вос базируете на инстинкте
SHARON STONE.
(Что любители звали "Треугольного"
звал "пистоном").

Запечатанный старый клоун
что за мысли в мозгу моем обрезали
**ХОРОШО, ЧТО
МЫ ВСЕ-НЕ БРЕЖНЕВЫ**

Фестивальные поцелуи
превращаются в
процедуры.

Раскрасневшаяся
Шарон Стоун,
с любовитством
как будто школьница,
чмокнув автора
моветонного,
прочитала стихи
прикольные.
Смерти дунула аллегорию...
Объегорила
чаши Тригорина
Старый клоун,
Почему инстинктивно
обжиг
Бог глядит
из ухакающего
треугольника
SHARON STONE.
Почему мы вхлаву
предлагаю
на колпосочке
Рэя Бредбери?

Что я думал под маской небрежно
ХОРОШО ЧТО МЫ ВСЕ - НЕ БРЕЖНЕВЫ.

Поймите, умные кретины:
позиция притягивает звезд.
Фан Пастернака, Тарантино
подземный поцелуй увез.

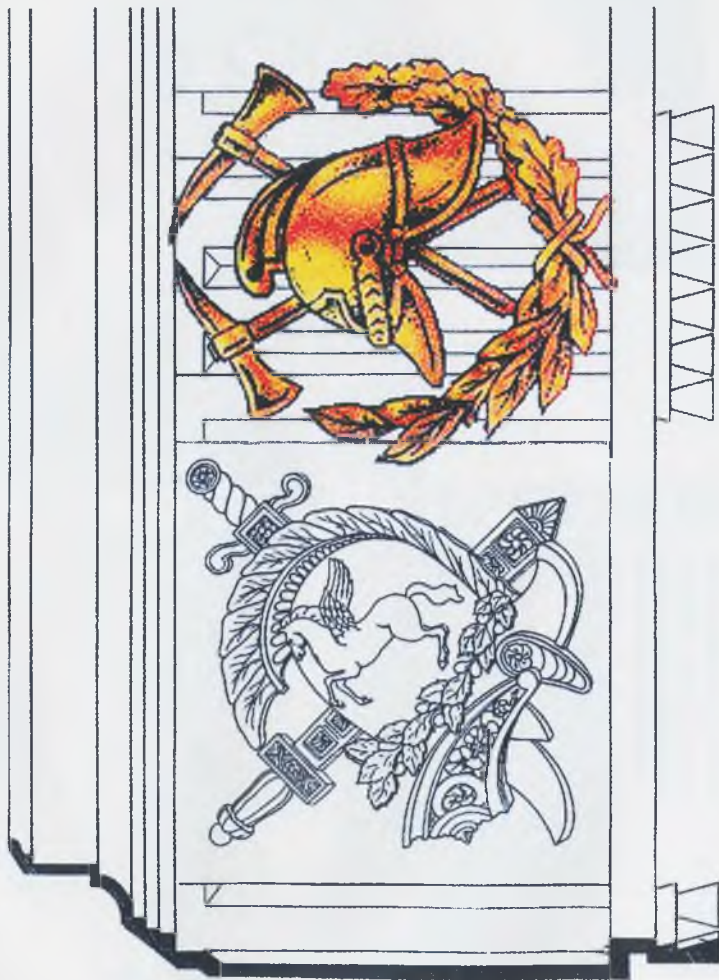
Посвящение Шарон Стоун.
Коллаж. 2004 г.



АЛСКОЮ ЗУБОВУ

Заставка к стихотворению
«Алексею Зубову».
2004 г.

Компьютерная графика к поэме
«Жарим мираж».
2004 г.



Ирис.

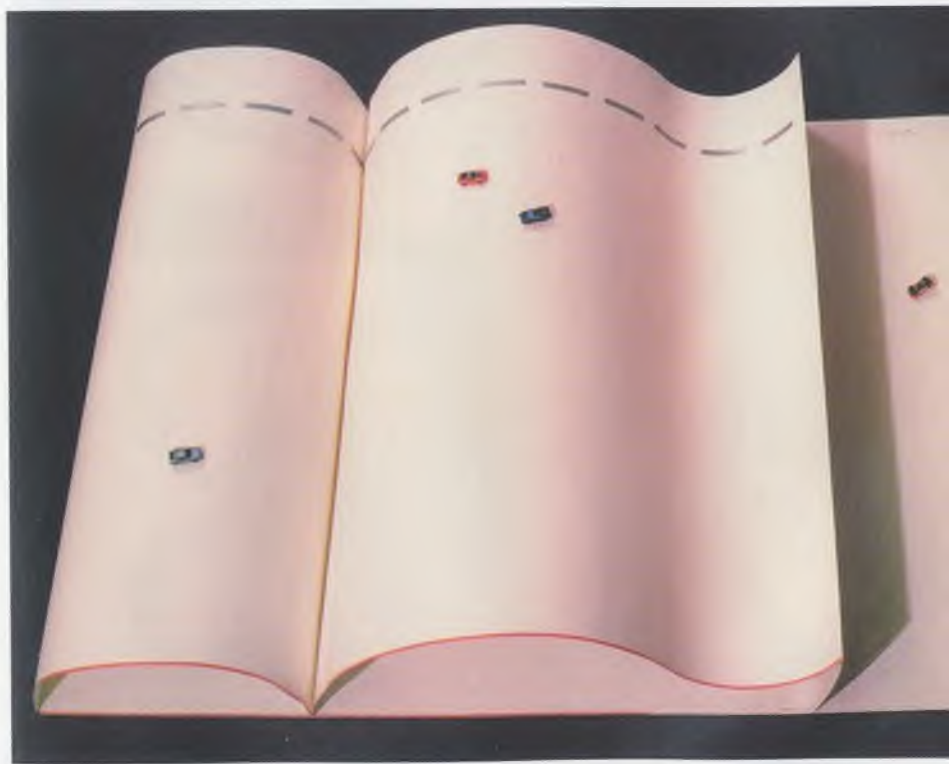
К поэме «Возвращение в цветы!».
2004 г.





Схамейка.

Картон, гуашь, виниловая пленка. 1992 г.



Ремарк.

Ватман, игрушечные автомашины.

1991 г.

СКВ прилетели.
Ассигнации, гуашь.
1980 г.



Компьютерная графика к поэме
«Орхидея асфальта».
2003 г.





**Сталин – Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье**

ЖИТЬ С ДЫРОЮ НОМЕР ДЕВЯТЬ!

Авторская копия Сальвадора Дали.
Видеома.
2004 г.

Свадебное поздравление.
2004 г.



Портовая стойка

Какого дьявола ты ждешь,
какого дьявола?
Какая склешенная ложь
войдет отъявленно?
И там у стойки для галош
над мутной склянкою
какому ангелу ты лжешь,
какому ангелу?

225 Предшествующая
творенью

Песня кабацких разбойников

«У меня больная печень —
мне опасно выпивать.
У меня больная совесть —
мне опасно убивать».

«У кого больная совесть,
с тем мы будем выпивать.
У кого больная печень,
тех мы будем убивать».

Яблонька

Тебя стерегут, как яблоню
в период плодоналива.
Старый бердан поддавливает.
Это подло, наивно!

И непонятно разве
подход стерегущим ружьям,
что яблони сами лазают
через забор к ворующим?

Опять за сердце хватанула
берез разрозненных толпа —
протяжные клавиатуры,
поставленные на попа.

Как будто отклеился клавиш,
оставши, береста дрожит.
И все, что в жизни не поправишь,
в ней прорывается навзрыд.

Ты помнишь эти вертикали?
Изнанка медная гриба
с названием «заячья губа»
прозеленела, как педали.

Как вседоступно одинока
судьба избранниц областных,
перо сороки на дорогу
опять, как клавиш, обронив!

Одна из них была редчайшей,
непостижимая опять.
Наверно, надо быть летящим,
чтоб снизу вверх на ней сыграть.

Когда до неба трепет тайный
по ее телу пробежал —
к ней ангелом горизонтальным
полночный Рихтер прилетал.

P.S.

Ее за это, зыркнув косо,
на землю свалит дровосек.

В Консерватории на козлах
она кричит, как человек.

То, что для нас — аппаратура,
ей — как пила и топоры.
Ты пальцы бы ополоснула
после игры, после игры...

Провожайте летние самолеты!
Ты сожмешься на моем плече,
обхватив ромашки, как свободу.
Твои ноздри в золотой пыльце.

Что уж, плачь! Открылся страшный клапан,
ты прости мне теплую, прости
что-то ожидающую каплю
с золотыми точками пыльцы.

Что хотела, капля, ожидая,
с золоченым бусинка бочком?
Покатилась капля золотая.
Не простила. Улыбнулась. «Ждем!»

Встречайте летние самолеты!
Ты прижмешься к черствому лицу.
На его щеку перенесешь ты
лживую летучую пыльцу.

Где они полюбили,
не береза бела —
скорлупой облупились
два амбирных ствола.

Той колонны известка,
чувство первое то
белоснежной березки
забелило пальто.

Ты спиной прислонялась.
В черном драпе была.
На лопатках остались
как два белых крыла.

Где-то бродишь по свету?
Путь твой плох и хорош.
Только крылышки эти
все с себя не сотрешь.

Тина, тихонькая Тина,
дочь табачного паши,
от кого ты подхватила
этот сифилис души?

От ответственного хама,
что как приз себя давал?
Или с общего стакана
у дверей в полуподвал?

Тебе хочется унижить,
обаяв на абордаж,
в тебе страсть шипит, как известь,
обожаешь обожать.

И, мучимая бациллой,
ты, как будто на коне,
на возлюбленном вкатила
при гостях к его жене.

Сдав законную пропажу,
на стекле заметив дождь,
к законному пейзажу
ты как к зеркалу прильнешь.

Но в стекло не проникают
слезы ночи и любви,
а туда не попадают
слезы теплые твои.

Этот плоский отель
поперек побережья и лета —
будто чья-то невидимая рука
задержала над магнитофоном
кассету,
но какой стороной —
не решила пока.

Я не знаю, что будет с тобой и со мною,
не знаю,
и какую все это пойдет стороной?..
Коридорной дорожкой
ступня записалась босая.
Ее утром сотрет
старомодный прибор.

Я живу через стенку с непробудным
спортсменом.

Ты, как музыка,
женщина,
через судьбы пройдешь.

Ты с собою увозишь
отеля протяжную тему.

Он,
чем больше отходишь,
тем больше с кассетою
схож.

Заяц пробежал

Три дырочки прочти
над белизной снегов —
три звездочки почти
над строчками стихов.

На заячьи следы
я вечером гляжу —
две дырки впереди,
две средние — внизу.

Гляди на нас, следи
из гипсовых следов,
за горизонт веди,
цепочка черепов.

Ушла душа. Земле до лампочки.
С тобой с Земли исчезли ландыши.

235 Предшествующая
творенью

Ежедневное, как бритье,
сквозь нас прорастает небытие.
В поступках, в дырочках белья
зияет небо небытия —

в друзьях пришедших
и уходящих —
куда? Наверное, в телящик,
уже оттуда на нас глядящих,
в жуть сентября, где и ты и я —
живые дети небытия.

Дача ломится от питья.

За что сегодняшняя поддача?
За что мне, Господи, эта удача
побить меж вами, вдохнуть арабику
и за Тобой откусить от яблока,
что пахнет чачей?!
Меж нами Млечный Путь атропинный
бежит, как крохотная тропинка,
где спотыкался я, торопился,
бежит, как спущенная петля
ночной коленки небытия.

Мы не вернемся на эту дачу.

Да будет, Господи, воля Твоя.

Летописец, ушедший в потемки,
ты презрел суету и печать.
На века идет работенка!
До бровей твой клубок преподобный,
он купальному шлему подобный —
воды Времени рассекать.
На суде твоём, тайно-жестком,
самодержец скривится, как тать,
в электрическом троне под током!
Приговор адресован потомкам.

Только некому будет читать.

Я не верю в кошмар изотермы
без людей — без певца, без кинто...
Не затем на земле хризантемы,
чтобы их не увидел никто.

Зэки шьют кресла Аэрофлоту.
На преступленьях мои полеты,
мнимых и страшных. Из крепкого репса
Аэрофлоту зэки шьют кресла.
Катапультировать бы из рейса!
Мне не заснуть в затененном отсеке.
Нитку насильник кусал большерото.
Оговоренная портила веки.
Аэрофлоту кресла шьют зэки.
О незнакомом молю человеку,
что, матюгаясь, шила мне кресло.
Боже, погибла или воскресла?
Небо. Свобода. Божии чресла.
Аэрофлоту зэки шьют кресла.

Когда душа метелями забита,
мне снится — первый Т-образный крест,
нагорбившийся как станок для бритвы,
сгребает вьюги белые с небес.

Все конкретней и необычайней
недоступный смысл миропорядка,
что ребенка приобщает к тайне,
взрослого — к отсутствию разгадки.

Мужчины с черными раскрытыми зонтами,
с сухими мыслями и мокрыми жадами,
куда несетесь вы бессмысленною ночью
на черных парусах, пираты-одиночки?

Удача ваша, что вам молодость сулила,
прошла, горизонтальная, над вами —
как велосипед сюрреалиста —
вращаясь спицами под вашими зонтами.

Секунду от каждого,
секунду от каждого,
все человечество обложить —
ну кто же откажется? —
великий останется жить.

По часу от каждого,
по часу от каждого,
все человечество обложить —
ну кто же откажется? —
тогда все Великие
и кто ими кажутся
останутся жить.

По жизни от каждого,
по жизни от каждого,
все человечество обложить —
тогда все живое,
все звери, коровы и пастбища
останутся жить.

Предложение в агропром

Теза: У доярок спад надоя.
Виновата аэробика.
Наш экран забыл устои.
Не Париж мы и не тропики.

Антитеза: Но французские доярки
Смотрят это и другое.
И у них довольно яркие
Показатели надоя.

Посылка: Аэробикику утroyа,
Мы подыдем рост надоя.

Крепит антеннку бабка Агафья.
Зверь двухголовый, смывшись с икон,
шарик на шавке несется верхом,
мотоциклиста облаял, поганец.
Водки заждались. Погоды залгались.
В город послали за пузырем.
Трезвые воют за пустырем
тебе акафист, Век-костолом!
К храму заросшему путь проторен,
траур дерьма за былым алтарем...

И колокольни разор, как афганец,
небу
 подъятым
 грозит
 костылем.

Ты заваришь «тизано»
из мяты и тайн.
Но я пью твоих глаз
византийский дизайн.

Говорят — кургизанка.
Дензнаки смешны
перед темным дизайном
византийской души.

Христианам
и детям Ислама нужна
твоя артезианская
глубина.

Даже звавши в альков,
холодны, как гюрза,
твои без слезников
золотые глаза.

Мое сердце терзай,
истязай, иссуши,
контрабандный дизайн
византийской души!

Вз —
выло сердце. Я слышу мигающий зов:
зв —
он звенит в голове, в уголовной Москве —
зве —
у родильного дома, в толпе вместо зверств —
звезд —
и в зрачках Твоих, полных весны и стыда —
да!
и волхвы тротуаров, подобьем хвоста, —
ад смущенный и Зевс, что не знали Христа,
трепетали, махая бумагою трастовой:
«Звездравствуй!»

Но стоит светофором,
от Шатуры заправлясь,
отпустивши земные средства,
отшатнувшаяся звезда.

Когда я слышу визг ваш шкурный,
я понимаю, как я прав.
Несуществующие в литературе
нас учат жить на свой устав.

Меж молотом и наковальной
опять сутулюсь на весу.
Опять подковой окаянной
кому-то счастье принесу.

Узоры на окне

Среди музыки и сора
моя жизнь проистекла —
за морозные узоры
иллюзорного стекла,

за Мане, за иней ветки
чем расплачиваться мне,
за кружок из-под монетки
на троллейбусном окне?

За подзоры и за зовы
тихой узницы зеркал...
Кто внимательные взоры
через льдышку продушал?

Глядя с улицы, всмотритесь
в тайный вензель «О» да «Е»,
прочитайте возраст «30»,
перевернутый в стекле.

Этот возраст для героя
станет встречей роковой,
и простятся над Невою
сочинитель и герой.

Что признанья? Что позоры?
У нас тайные дела —
узурпировать узоры
христианского стекла.

Я пою в нашем городке
каждый день, в праздной тесноте.
Ты придешь, сядешь в уголке.
Подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,
подберу музыку к лицу,
подберу музыку к словам,
что тебе в жизни не скажу.

Пусть мотив празднично тоскующ.
Все равно, что в жизни суждено —
под мою ты музыку танцуешь,
все равно...

Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь.
Я тебя взглядом провожу.
За окном будет только дождь.
Подберу музыку к дождю.

В ресторан ходят отдохнуть
и когда все не по нутру.
Подберу с ходу что-нибудь,
как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.
Но всегда музыка одна.
Если я в жизни упаду,
подберет музыка меня.

В век варварства и атома
мы — акушеры нового,
нам эта участь адова
по нраву и по норову.

Мы — бабки повивальные,
а век ревет матеро,
как помесь павиана
и авиамотора.

Попробуйте при родах
подобных постоять,
сгорать на электродах
и в руки радий брать.

И, счастлив этой долей,
художник в мастерской
стоит, смертельно болен
болезнью лучевой.

Взад-вперед походкой челночной,
перед тем, как уйду во тьму,
оставляю берег простроченный
и лоскут заката к нему.

В доме негусто, но пиршество взору.
В рамках шикарная нищета:
свищут скворцы на верхушке березы,
как бубенцы на макушке шута.

Лязг колясок, скрип резины
в инвалютных небесах —
инвалид всея России
возвращается назад.
И душа, как черный ящик,
не заснет весь рейс она
между олимпийцев спящих,
расчлененных, как страна.
На коляске их до трапу
барселонцы подвезли,
как веласкесского Папу,
в кресле подняли с земли.
Королевские медали,
дам восторженный бинокль...
С чем на родине их ждали?
Родина — без рук, без ног.
Я не сплю. Заснул афганец,
подорвавшись на любви.
Не читай ему акафист.
С утешеньем отвали.
Загорелая восковка,
и тоска на тормозах,
и оттенок превосходства
снизу вверх — в его глазах.
Что спасет нас? Только прана,
воли бешеный комок,
что нас подымает на ноги,
даже если нету ног.
Легкий сад, пошли им ласково
круг решетки на углу —
инвалидную коляску,
утонувшую в снегу.

Верблюды пишут верлибры
Нимфы рифмуются с отражением
В полусвете воска вокзалов
вязнет моя судьба

255 Предшествующая
творенью

Трасса смерти

(на мотив Л. Левчева)

Я купил «мерседес», я, по-вашему, турок,
экономивший в Руре на жратве и сортирах.
Я к себе возвращаюсь через ваши культуры —
византийский окурок, лечу в Византию!

Трассой смерти зовется такая дорога.
(ФРГ — мимо Софии — в Айя-Софию.)
Словно совесть, зовут указатели «к Богу!».
Позабыв Византию, летим в Византию.

Люди выбросят палец, прося подвести их,
императорским жестом: «Умри, гладиатор».
Слово «Бог» опустело, как улья пустые.
Я святою водою залил радиатор.
Потеряв Византию, летим в Византию.

Возвращаемся к женщине. Но жилье опустело.
Ах, как мне она пела на море чернейшем!
А наклонит лицо — в золотом ее теле
отразятся зрочки, как четыре черешни.

Возврати меня в веру, как зов атавизма,
Византия, верни мне транзитную визу!
Врежусь в встречные фары твои золотые...
Византии не будет. Летим в Византию.

«Что он Гекубе?
Что ему Гекуба?»
Что я якутам?
Что мне якуты?

Но я тоскую по Якутии
с такую краткою травую!
Ее природа внешне скудная,
зато душой не оторвешься.

Как бережно дома якутские
над мерзлотой парят на сваях!
Они прохладой землю кутают,
чтоб, как Снегурка, не оттаяла.

С какой надеждою скворешни
стоят на кладбищах дощато,
чтоб души временно умерших,
настранствовавших, возвращались.

Здесь время свеже, как из ледника.
И в логове оленевода
Данилов мне читает Хлебникова,
понятного без перевода.

Я иду по следу рыси,
а она в ветвях — за мной.
Хищное вниманье выси
ощущается спиной.

Шли, шли, шли, шли,
водит, водит день-деньской,
лишь, лишь, лишь, лишь
я за ней, она за мной.

Но стволы мои хитры,
рыси — кры...

Мы в городе проголодались.
Упавши в травы, мы равны
всем муравьям и голодранцам.
Крапивы к ужину нарви!

Я сыт поляной, где качаются
по темным щавельным волнам
ромашки — как крутые яйца,
нарезанные пополам.

Здесь гостям наливают
так, что вышибут дух.
Здесь уж если рожают,
обязательно двух!
Если сучья — так бивни,
а уж если река,
блещут, будто турбины,
белых рыбин бока.
Как пружина раскрученный,
бьет сазан из сачка.
Солнце брызжет из тучи,
как с тугого

соска!

Ты куда, попрыгунья
с молотком на боку?
Ты работала в ГУМе,
ты махнула в тайгу.
Точно шарик пинг-понга,
ты стучишь о мостки,
аж гудят перепонки
тугоухой тайги!
Ты о елочки колешься.
Там, где лес колдовал,
забиваешь ты колышки:
«Домна». «Цех». «Котлован».
Как в шекспировских актах —
«Лес». «Развалины». «Ров».
Героини в палатках.
Перекройка миров.

Любя природу во все глотки,
люди за собой не уберет, —
как будто голова селедки,
лежит на небе вертолет.

Гость у костра

Облупленные морды.
Костер. Ручей.
Мы молоды и голодны,
как сто чертей.

И Лялька, Лялька
в фуфаечке тугой,
курносая, как лайка,
хлопочет над ухой.

Хошь не хошь,
гож не гож —
гость!..

А гость садится к чайнику,
он хмур не по годам,
щетина, как лишайник,
сползает по щекам:

Упруги щечки пресные,
как пара ягодиц:
— По-вашему, я — «плесень»,
«сектант», «иеговист».
Мы — поколение лишнее,
мы маски без лица,
сквозь стеганные лифчики
не слышатся сердца.
Стареющие женщины
учили нас любви,
отсюда горечь желчная
и пустота в крови...

А Лялька, Лялька, Лялька,
ой, сатана,

ему рюкзачной лямкой
по роже — на! на!..

Гагарин — пропаганда?
А Братск, а Сталинград?
Поганка, ты поганка!
Гад, гад, гад!

Ах, как она хлестала...
А после, у ольхи,
как она роняла
слезинки в угольки...

Я спустился с ними
чащобой девственной
вниз от пилорамы
верст на сто —
пилигримы места, времени и действия
«где-когда-что?».

По святым местам
великого Илима,
временем единственным,
данным нам,
рубят коровники
злые пилигримы —
так истосковались по святым делам!

По дороге пили,
подбивали башли.
Но остались срубы
сиять, как храм.
Чистота прикидывается
шабашником,
так истосковалась
по святым делам.

Мученик Серега
С перепою бледен,
он по делу этому ветеран.
Перебраться по бревнышку
всю Россию бредит,
так истосковался по делам.

По пути прочистили
гибнущее озеро.

Для души —
заплатит товарищ волк!
Шестеро паломников
дипломы бросили —
так образовался
«инженерский полк».

Что-то покосился
берег у Илима?
Скомкана полсотенная в плаще.

И уйдут
транзисторные пилигримы
с «Лунною сонатою»
на плече.

Я в Шушенском. В лесу слоняюсь.
Такая глушь в лесах моих!
Я думаю, что гениальность
переселяется в других

Уходят имена и числа.
Меняет гений свой покров.
Он — дух народа.
В этом смысле
был Лениным — Андрей Рублев.

Как по архангелам келейным,
порхал огонь неукротен.
И может, на секунду Лениным
был Лермонтов и Пугачев.

Но вот в стране узкоколейной,
шугнув испуганную шваль,
в Ульянова вселился Ленин,
так что пиджак трещал по швам!
Он диктовал его декреты.
Ульянов был его техредом.

Нацелен и лобаст, как линза,
он в гневный фокус собирал,
что думал зал. И афоризмом
обрушивал на этот зал.

И часто от бессонных планов,
упав лицом на кулаки,
устало говорил Ульянов:
«Мне трудно, Ленин. Помогите!»

Когда он хаживал с ружьишком,
он не был Лениным тогда,
а Ленин с профилем мужицким
брал легендарно города!

Вносили тело в зал нетопленный,
а он — в тулупы, лбы, глаза,
ушел в нахмуренные толпы,
как партизан идет в леса.

Он строил, светел и двужилен,
страну в такие холода.
Не говорите: «Если б жил он!..»
Вот если б умер — что тогда?..

Какая пепельная стужа
сковала б родину мою!
Моя замученная муза,
что пела б в лагерном краю?

Как он страдал в часы тоски,
когда по траурным трибунам —
по сердцу Ленина —
тяжки,
самодержавно и чугунно
стуча взбирались сапоги!

В них струйкой липкой и опасной
стекали красные лампасы.

Некролог

Покойник был не кролик.
Ему бы чуточку пожить —
некому было б хоронить.

Летел он от Земли наискосок,
оставив слева Запад и Восток,
и соответственно — Север и Юг,
ориентируясь на сердца звук.

Но это было сердце не его,
а чье-то,
что откуда-то звало.

Увидел, что не знали словари,
«Ты дивео», — понявши, он сказал.
И растворился в Существое любви.
Но не в любви,
которую он знал.

На май обрушились метели.
Проснулся — ласточек полно.
Две горных ласточки влетели
в мое окно. Мое окно
они открыли, леденя —
небесно-бедственная весть!
Теперь сидят на батарее,
высокомерничают есть,
бесстыдничают в оперенье,
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,
искать жемчужное зерно.
К их клювикам-малокозыркам
явилась третья сквозь окно.
Она, как чьи-то мысли дальние,
часами может замирать.
На лоб оконничный спадает
крыло ненужное, как прядь.

Я только выпустил три тома.
И вот сигнал, что кто-то их
там прочитал в мирах бездонных
и мне отправил три своих.
Чем отдарю я дар твой тихий
и это счастье повидать,

как треугольные пловчихи —
из угла в угол и опять —
сто верст пытаюсь налетать,
перекрестили красотой
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках,
как бог Гермес. И все синё!..
Пока они не улетели,
я делал с них фотозюд.
Я улетел через неделю.
В квартире ласточки живут.

Как я всегда жалею
эти цветы без веток —
ствол обхватив за шею,
чтоб не сорвало ветром!

Эти цветы-ошейники
так и не разовьются.
Есть в них черты отшельников
даже среди многолюдства.

Есть в них укор внимательный,
детская, что ли, старость?
Смерть — преступленье матери,
если дитя осталось.

Что ты, дитя приюта?
Выплакалась, не надо...
Матери — иуды.
Тернии интернатов.

Как белоснежно, как бездонно
благословила нас в порту
двутрубно-белая мадонна
с младенцем-шлюпкой на борту.

Она, склонясь у изголовья,
следила спящие тела,
когда ж, шатаемы любовью,
мы вышли кофе пить на взморье,
она, спокойная, ушла
не шибко, в 32 узла.

Я
 башня
 Сухарева
 боярышня
 суриковская
 несучившаяся
 текитеки сукровица
 убиенная мазуриками
 с ромбами и кубиками

На Сухаревой башенке
 Иван Великий женится
 В Москве землетрясение
 как брачная кровать
 сдайте яйца сооружению
 на белке хоромам
 сто лет стоять
 Иван Великий женится
 на Сухаревой башенке
 я ее строитель Чеглоков
 красные дороженьки застелить велите!
 почему ж повалены миллионы толп?

.....

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!
 Над Москвой белеет овдовевший столп.

Липечанские болота

*Памяти Н. Филидовича,
белорусского Сусанина*

275 Предшествующая
творенью

I

«Филидович, проведешь в логова?»
«Да, «Мертвая голова», — закатаны рукава».
«Филидович, а оплата не мала?»
«Жизнь, «Мертвая голова», была бы семья жива».
«Филидович, кто в залог остался за?»
«Внук, «Мертвая голова», голубенькие глаза...»
Под следочком расправляется трава.
Филидович, проклянет тебя молва!

II

«Филидович, от заката до восхода
справа, слева, сзади, спереди — болота,
перед нами и за нами, как блевота,
и под нами...»
«А точнее говоря,
и уже над нами — болота,
«Мертвая голова!»

Я хочу в осенней дали
реставрировать, что вижу,
что в себе порастеряли
торгаши и нувориши.

Что-то есть в наивном «газике»
под брезентовой навеской
от пропахших Средней Азией
первых шлемов конармейских.

В византийских темных красках
вечереющего лета
«газик» вспыхнет и погаснет,
и чего-то нету, нету...

Ну, что же, примем аксиому века
и попытаем аксиому счастья.
Счастливая улыбка Моны Лизы,
познавшая загадку монорельсы.

— Мы — не люди, грибные мутанты,
мы — туманты.
Гуманизма исчезнувший мамонт
потоптал нашу честную маму.
Мы — to-night'ы.

Меломаны, в скрипичные такты
на ушах мы вползаем, как танки,
хохматанты,
мы — тьмутараканты.

Детки смотрят в подъездах мультяшки.
Жизнь смутьянов охомутила,
откусивши язык Эзопов,
нынче в душах, как из сексшопов,
вылезают грибные мутанты.

Двухголовый пацан веселится,
и летит двухголовая птица,
все кодируют наши грибницы.
И, мыча, демонстрируют люди
две души, словно женские груди.
Жизнь удачная — только мудачная.
Мы проходим муки мутации.

И когда ты путанкою тычешься,
черный рыжик с подкраскою панка,
по губам твоим наркотическим
понимаю — грибная мутантка!

Но ночами с балкона подолгу
глядя в необъяснимую высь,
ты читаешь свое подобье
в шевеленье Небесных грибниц...

И когда нас земля поглотит
в чрево Данте,
долго будет планету мутить.
Мы — мутанты...

279 Предшестующая
творенью

1

Окрошка хороша —
с накрошенными в ней кусками
яичными особняками,
прозрачным огурцом Пассажа,
с толпой взаимного массажа,
с уже старославянским «лажа»,
с мотоциклетною редиской,
с укором лет, где ты родился —
кто съел вас, кореша?

2

Окрошка хороша
бессонных наших разговоров
о битлах, Герцене, моторах,
на Ленинских — экс-Воробьевых,
и поцелуев торопливых
под бритвенным ремнем трамплина,
над попкую «моржа» —
окрошка хороша.

3

Москва! Люблю тебя окрошно,
великий крашеный Акрополь!
Все залито весной коричневой,
пузырчатой, тревожной, взвинченной,
в горле от этого перша,
окрошка хороша.

4

Москва, под чем сегодня клюкнешь?
Не под развесистой клюквой,
а под клубничкой-адидасом
с лба баскетбольного дитяти,
хмельного с этого ерша.
И пятитоночки, сердечно
поцеловавшей «мерседеса»
на выезде из гаража —
окрошка хороша.

5

И ироничная москвичка
пришпилит трусики «кавычками»
к шнуру балкона нетипичного
восьмого этажа.
Их стайка белая лиричная,
как строчка Бальмонта, свежа.

6

Окрошка хороша
твоей прически чародейской,
злодейских слез и веры детской,
с главой зачитанной Булгакова
и неп прочитанного «как его?».
Ты — дочь Москвы. Ее душа.

7

И приготовлена Тобою
получше ВТО любого,
окрошка хороша.

Март

С Черемушкинского рынка
в Москву прилетает весна,
Ходынка!
В сугробах страна.

Но женщина в красной косынке
одела в аэропорту
бутоны тюльпанов в резинки,
чтоб предохранить красоту.

Когда задевает за мозгу мозга,
нырните в бассейн «Москва».

Где алтарь Христа Спасителя,
там кипят водосмесители,
это ад, ад, ад,
это антимаскарад,
на воде вместо Крестителя
наши головы лежат.

Я в аду, жду, жду.
Пробегают на лету
в хлорных клубах
 вместо шубок
чемпионки лучших клубов
с дезинфекцией во рту.

В антиплавках дьявол синий
плыл, как вызов нагоде,
весь обтянутый резиной,
а где плавки — декольте.

Ад распространяет сырость
на пушкинианский дом,
где в испуге разместилось
общезитие мадонн.

Почему я опускался
на запретнейшее дно,
надевая шапок скальпы?
Видел то, что не дано.

Я лежал на спинке в полночь.
Было страшно и легко.

Я увидел возле поручня
Непорочное лицо.

Ночь морозная сияла
вкруг снесенного Кольца,
словно эхо христианства
или купол без конца.

Недоступное таможене,
что напоминает храм,
что разрушить невозможно
и понять не время нам.

От мороза лопнут трубы —
ничего!
Мы пока еще не трупы,
нам с тобою горячо.

Москва вроде Минусинска:
минус 45.
Значит, предстоит разминка,
чтобы кровь полировать.

Я люблю не оттого ли
наш крещенский холодок —
полирует кровь и волю,
как для зайца нужен волк.

Помнишь время молодое?
Мы врывались на пари,
оставляя пол-ладони,
примороженной к двери.

У мороза звон мажорный.
Принимайте душ моржовый!
Кому холод — лютый,
а кому — валютный.

Белки, царственно шуруя
по волшебному стволу,
траекторией шурупа
завинтились в синеву!

Помнишь, как они гонялись
в нашу летнюю судьбу,
завивая гениально
цепь златую на дубу?

Долой меньшинства божество!
Отдай большинству украденное!
Эксплуатируемое большинство
свергает аристократию.

Долой меньшинства божество!
Грабителей разоружили.
Эксплуатируемое большинство
свергает буржуазию.

Долой меньшинства божество!
Глядит на людей с любопытством
эксплуатируемое большинство
пернатых, рогатых, копытных...

— Аптекарша, дай мне забвение!
Желательно внутривенное.
— Аптекарша, мы из села Вязники.
Мы язвенники.
— Аптекарша, дай кислорода!
Перекрыли царя природы.
— Без очереди, криворотый!
— А ночью рецепт откуда же?
— Со всего света мы тут, аптекарша,
истомились за столетье истекшее...
— Не сосед, а горе-злосчастие —
аптекарша, дай противозачаточное...

Я тебя в дежурство развлекаю.
Ты все время возвращаешься к клиентам.
Хохлятся латинские лекарства
на крутящихся темных этажерках,
словно рижские голубятни
или кафедры римских соборов.
Аптекарша, бессонный мой совеноч!
Дверь дубовая — на засовах,
в ней квадратное окошко за решеткой,
и сквозь это окошко милосердное
умоляют глаза и носоглотки,
рецепты, фуражки милицейские,
кашли, башли, печали, челюсти.
Излечимо ли человечество?

— Аптекарша, дайте мне яду!
— Принимайте, по возможности, Моцарта.
— Аптекарша, свинцовых примочек,
а шоферу чего-нибудь мятного!
— Я с поста. Отвори, аптекарша,
изложу дежурство протекшее.

Я кручу лекарственные столики.
 Меня их кружение забавляет.
 Скажем, вызову: «Н. Н. Кроликов!»
 И Кроликов появляется.
 — Аптекарша, блок кодеина!
 — Обтерписься! (Местный Катилина.)

Я взрываюсь: «Алкаши! Пустобратия!
 Упыри! Марафетчики патлатые!»
 Говоришь ты: «Выключи радио...» —
 и мне рот затыкаешь халатом.
 — Аптекарша, смерть артерию!
 — Отужинаем, аптекарша!
 — Дочка сейчас отелится,
 облажались мы с тобой, аптекарша.
 — Аптекарша, аптекарша, аптекарша...
 — Аптекарша, дай мне забвение.
 Возможно. Но тем не менее...

Излечимо ли человечество?
 Смерть — причина или личина
 неземной какой-то заразы?
 Стойки лекарственных заказов
 кружатся в наивном спиритизме.
 И дрожат, недоступные для глаза,
 паутинки радужные жизни,
 от тебя протянуты в квартиры,
 к обитателям кратного крова,
 к постовому, к тому же Кроликову,
 как бессонные лески рыболова.
 Ослабела вдруг паутинка —
 значит, в ком-то жизнь поутихла.

Ты встаешь, чью-то жизнь поправишь,
 аптекарша, случайный мой товарищ...
 Пахнет сеном, сушеной астрой,
 буквы вышиты на халатике.
 Ты к нам перевелась из-за астмы
 из какой-то другой галактики.
 И когда посетители последние
 откачнутся, оставив кассу,
 припадаешь к окошку милосердному,

видишь город и утро серое
сквозь тучи, почти весенние,
откроется квадратик небосвода...
«Дайте аптекарше кислорода!»

289 Предшествующая
творенью

Я помню птиц неутолимой Вечности.
Я помню хруст их клювов и зрачков.
И отлетали ножки от кузнечиков,
как дужки отломившихся очков.

Большеголовая
ночная бабочка
сложив крылья
сидит
на белой стене
как замочная скважина
в абсолютную тайну
Из белой истины
на нас глядит
непроглядная тайна

Море подзалетело.
Народилась коса.
Синева золотела,
вспоминая Отца.

Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня —
на Командоре поженись!
Влечение через женщину к мужчине —
донжуанизм.

Ты столько нежных пропахал гектаров.
Ты с женских кос не собирал нектара.
За шейками вместо косы
кусались командорские усы.

И отношение барона к Пушкину
сквозь Натали неутолимо, нет.
Предметом его страсти перекушенной
был презиравший эту страсть Поэт...

В окно глядели черные деревья.
Свет женщины, как белый мостик, плыл...

Любил ли Белый Любу Менделееву?
Он Блока в её образе любил.

А Дон Жуан, в названии обещанный?
Бабья — навал.
Не отбивал у Командора женщины —
у женщины его он отбивал.

Ответ министру

Здравствуйте, министр добрейший
аморальных удобрений!
У датчан едят нитрат
больше нашего в сто крат?

Я за них просто в отчаянии!
По больницам нашим в ряд —
все датчане, все датчане
с отравленьями лежат.

Ах, министр, не пестицидыте!
Неужель — не у датчан —
детской смертности статистика
Вас не будит по ночам?!

Скушайте, министр, продукты,
что народу продают.
В Дании такие фрукты
в отставку подают.

Отступление об отступлениях

Болен я. Живу у моря.
Нет «Америки». Умора!

Я живу, счастливый пленный
Обнаглевших отступлений.

Муза мне чаек мешает,
Помогает и мешает.

Ждет редактор Косолапов...
Берег кляксами заляпав,
Мое море отступает,
Точно сцену обнажает —
Душу,
водоросли,
песок,

А потом на берег шпарит,
Как асфальтовый каток!

Свет потуши. Зажгутся окна
невыразимую зарей.
В потустороннем доме — елка.
Там ожидают нас с тобой.

И сквозь морозные узоры
на нас, стоящих за окном,
устанутся иные взоры —
Пространств страннопriимный дом.

Две чашки в сумерках белели —
как оттиск в гипсе молодом,
что вы оставили, миледи,
здесь, наклонившись над столом.

«Блондинка, стройная,
172-сантиметровая,
что любит кулинарию и книги» —
опубликована,
как ордер просмотрный,
в «Вечерней Риге».

Мне это имя, кажется, знакомо...
Нога балетная. Улыбка бабьелетняя.
Под шкаф скакнула
незабвенная заколка...
По объявлению! по объявлению!

Кругом двухкомнатные женщины петитом.
Спрос на мужчин от 40 и до 50-ти.
Под ними руки
стерты Моцартом и стиркою.
Какие страшные судеб
четверостишия!

Идут по улицам, взрослея и старея,
и мнут перед редакцией перчатки
самые честные стихотворения.
Не всех печатают.

Несложившиеся книги.
Неопубликованные невесты.
Я не печатаюсь в вечерней «Риге»,
чтоб им было больше места.

Где ты идешь сейчас, какой дорогой?
Очки поправив.
Бездонные глаза — как некрологи
в черной оправе.

По всей стране конверты запечатывают.
Хохочет кодро.
Наверно, пошло, что в газете их печатают.
Но не печатать — подло.

В Америке, пропахшей мраком,
камелией и аммиаком,
в отелях лунных, как олени,
по алюминиевым аллеям,
пыхтя, как будто тягачи,
за мною ходят стукачи,

17 сигарет в ночи.

Один — мордастый, как томат,
другой — галантно-нагловат.
А их главарь — горбат и хвор.
Кровавый глаз — как семафор.

Гостиницы имеют уши.
Как микрофон головка душа,
и писсуар глядит на вас,
как гипсовой богини глаз.

17 объективов щелкали.
17 раз в дверную щелку
я вылетал, как домовой,
свось линзу — книзу головой.

Живу. В гостиных речь веду.
Смеюсь островам возле секса.
Лежат 17 Вознесенских
в кассетах, сейфах, как в аду.

Они с разинутыми ртами,
как лес с затекшими руками,
как пленники в игре «замри!»,
застыли двойники мои.

Один застыл в зубах с лангустой.
Другой — в прыжке повис, как люстра.
А у того в руках вода.
Он не напьется никогда!

17 Вознесенских стонут,
они без голоса. Мой крик
накручен на магнитофоны,
как красный вырванный язык!

Я разворован, я разбросан,
меня таскают на допросы...
Давно я дома. Жив вполне.
Но как-то нет меня во мне.

Впотьмах в подземных казематах,
шпионы с восхищенным матом,
как рентгенологи и филины,
меня просматривают в фильме.

Один надулся, как москит.
Другой хрипит: «Дошел, москвич?!»
Горбун мрачнеет, он молчит.
Багровый глаз его горит.

Невыносимо быть распятым,
до каждой родинки сквозя,
когда в тебя от губ до пяток,
как пули, всажены глаза!

И пальцы в ржавых заусенцах
по сердцу шаркают почти.
«Вам больно, мистер Вознесенский?»
Пусти, чудовище! Пусти.

Пусти, красавчик Квазимодо!
Душа горит, кровотока
от пристальных очей «Свободы»
и нежных взоров стукача.

- А еще я скажу апропо...
- Про что скажете?
- А про то!
- Может, лучше про Артлото?
- А про то?
- Бросьте в ступе толочь решето,
лучше мчитесь неторной тропой
по заоблачным горным плато...
- А про то?
- Ты про что намекаешь, браток?
- А про то...

Стихотворение, вращающее вал

(на мотив Г. Абашидзе)

Неужто колесо цивилиза-
ции земной завертится обратно?
Акрополь рухнет? И нахлынет брато-
убийственная божия гроза?

Неужто сумасшедшие гала-
ктики сорвут свои орбиты?
Народы сгинут? Снова необита-
ема планета станет и гола?

Но где же притаится Бог бессмерт-
ной Жизни? Ей немислимы потери.
А без нее пустынная матери-
я станет, словно сброшенный бешмет.

Я верю, умирающая ци-
вилизация сменится иною.
Жизнь вспыхнет обновленно как при Ное-
вом половодье. Мы — ее жрецы.

И толпы непонятных лилипу-
тов или великаны в форме капель
заселят мир. Но некоммуникабель-
ность мне не даст постигнуть их толпу.

Как мне представить эту цивили-
зацию? Как туда проникнуть зайцем
в сигнализирующую нам цивилизаци-
ю, словно феникс будущей Земли?

Не утверждайте, что придет Конец.
Присутствуем мы вечно при Начале.
Чье сердце разорвется от печали,
когда не будет на земле сердец?

Идет перетягивание каната.
«Здесь» — «там».
Все меньше темная наша команда.
Как тянет к себе другой капитан!

И. Г.

Торчала среди Европы,
блестя ободком кольца,
из засыпанного окопа
рука твоего отца.
Протягивалась к жизни из глуби небытия
мертвая, во вздутых жилах
отцовская пятерня.
Ее солдат проходивший
ударил концом штыка.
И судорогой закричала дернувшаяся рука!
Живой! Сверкнули лопаты.
Он жив до сих пор, мужик
со шрамом в рукопожатье.
Спасибо, жестокий штык!
Вы жали ли руку Времени?!
Вы жали ли руку Христу?!
По скользкому шрамику кремния
узнаете руку ту.
Вот почему в испарине судорогою лица
ко мне через стол уставленный
ты клонишься, сын отца.
И побледнеют женщины. Запнется магнитофон.
В столе откроется трещина Времен.
И, содрогая недра, зовет тебя и меня,
из земли протянута к небу,
отцовская пятерня.

Баллада 41-го года

Партизанам Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замерзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, черный ящик,
лежал на брюхе и гудел.
Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.

А пальцы вспухшие атели.
На левой — два, на правой — пять...
Он
 опускался
 на колени,
 чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Он с криком эти пальцы ложил,
их красоту, их божество...
И было величайшей ложью
все, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны.
Во мне ревет рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И как коронного пассажи,
я жду удара топора.

Гамбург-ретро

Стилем «ретро» сменяется «порно»,
полно,
Воланд, срежьте со шляпы воланы —
поешьте лагерную баланду!

Баллада

*С Манфредом Генриховичем Эссеном
(под такой фамилией знали подпольщики доктора
Эсси-Эзинга) я познакомился в Ялте,
где он работает рентгенологом. Рослый латыш
в чесучовой рубашке, уроженец Донбасса,
он поразил меня лепкой лба, северным сиянием глаз.
Будучи в плену, стал главврачом Павлоградского лагеря;
окруженный смертью, подозрительностью, он превратил
госпиталь в комбинат побегов к партизанам.
Провоцируя признаки страшной болезни, людей списывали
и вывозили из лагеря. Так было переправлено более
тысячи человек, а около пяти тысяч молодых павлоградцев
было спасено от угона в Германию. Это слишком
невероятно, чтобы лечь в стихи буквально.
Сам Эссен до последних дней считался погибшим.*

1

Главврач немецкого лагеря,
назначенный из пленных,
выводит ночами в колбе
невиданную болезнь,
машины увозят мертвых,
смерзшихся, как поленья,
а утром ожившие трупы
стригут автоматами лес.

2

Доктор Осень, ах, доктор Осень!
Занавеска затенена.
Над спиной твоей, будто оспиной,
пулей выщерблена стена.

Над бараком витают стоны.
Очи бешеные бессонны.

На полосках слепых петлиц
следы кубиков запеклись.

Корифеи из Лабрадора,
Павлов, Мечников, Гиппократ —
все дерзали в лабораториях,
рисковали — но чтобы так?!

Чтоб от виселицы в трех метрах,
в микроскопном желтом глазке
жизнь искать в волосочке смерти —
сам от смерти на волоске?!

Это надо быть трижды гением,
чтоб затравленного среди мглы
пригвоздило тебя вдохновение,
открывающее миры.

И, сорвавши флажок финальный,
ты не можешь вскричать: «Нашел!..»
Спи, башку свою гениальную
уронив на дощатый стол.

*Доктор Осень засыпает. В это
время колба с шипением раздувается,
как кобра, вверху. Из нее появляется
Мефистофель. Он круглолиц, чисто
выбрит, стрижен под полубокс.*

МЕФИСТОФЕЛЬ:

Хайль Гибель!

Я, коллега, к вам делегатом
с предложением деликатным.

Вы дотронулись до рубильника
биологического баланса.
Жизнь и смерть — вопросы глубинные.
Не опасно ли баловаться?
Гуманисту-врачу прелестнее
Изобрести леченья, а не болезни.

Ваш поступок осудят гордо
непорочные медики мира,
встав в халатах по горло,
как бутылки с кефиром.

Все согласовано в природе.
Луна, корова, лук-порей.
Народовольцы производят
естественный отбор царей.

Я ведь тоже не всем довольный
(вспомните эпизодик с Фаустом).
Остановить мгновение?
Всегда пожалуйста!

Вы ж изволите недозволенного.
Микросмерть ваша — как Аттила,
вдруг взалкает сверхэпидемий?
Хватит дрессировать бациллу.
Завернем в погребок питейный.

Там за импортною снедью
пофлиртуем с юной смертью.
Раздавим банку на троих.
Там мне пониженный тариф.
(За окном кричит Петух.)

МЕФИСТОФЕЛЬ
(с досадой передразнивая):
Кукареку!

Кукареку!

Пора!

Приветик конкуренту!
(Исчезает.)

ДОКТОР ОСЕНЬ
(пробуждаясь):
Условный знак. Нет перемен.
Ребята, значит, в партизанах.
Ори, петух! Конец терзанням.
Да здравствует эксперимент!

(Доктор Осень смотрит в микроскоп.)

Что прозревающему видно,
нам не дано.
Он в груше видит сердцевину,
под морем — дно.

Он с кислорода, как с осины,
сдерет кору.

О тыщи гусениц красивых
в микромиру!

Галактики кишат гирляндами.
Нам воздух — пуст,
ему же, как в компотной склянке,
цветает и густ.

И в ваши радостные ноздри,
как в свод метро,
микробов Навуходоносоры
бегут пестро.

Он видит тайные процессы,
их негатив,
пунктиры факельных процессий
сквозь никотин,

и в наливающийся кровью
рябины лист
распада божии коровки
поразбрелись.

Будь осторожнее — растопчешь
любовь незримую.

Будь настороже — злой росточек
в атаку ринулся.

Скорее, врач. На то и зрячий.
Ори: «Чума!»

А людям воздух чист, прозрачен.
(Чай, лаборант сошел с ума!)

С обмолвки началась религия.
Эпоха — с мига.

И микроусик гитлеризма
в быту подмигивал.

Микробрижит, микрорадищев
и микрогегель...

Мильон поэтов, не родившихся
от анти-бэби.
А в центре — как магнит двуполосный,
иль нерв дрожит,
лежит личиночка двуполая,
в ней — Смертожизнь.

Дзинь!
Жизнь для цыпленка, смерть —
для скорлупки —

жизнь.

Дзинь!

Чьи очки под колесами хрупнули?!

Дзинь...

Жизнь

к волчонку бежит

в зубах с зайчихиной —

смертью?

Смерть

в ракетах лежит,

в которых гарантия жизни?

Жизнь

зародилась из бездн,

называемых смертью.

Смерть

нам приносит процесс,

называемый жизнью.

Дзинь...

Великий превратится в точку.

Искра — в зарю.

Кончины наши и источники

в микромиру.

Ты наравне с Первосоздателем

вступил в игру,

мой Доктор, бритый по-солдатски,

зло изменяющий к добру.

4

Какая мука — первый твой надрез
под экспериментальную вакцину
связисту, синеглазому, как сыну!..
А вдруг неуправляема болезнь?..

Он пытался ее
из себя плоскогубцами вынуть. И,
отрешенно и важно
храня независимость хода,
как куранты на башнях,
свисали часы в пищеводах.
А один в вырезвители
съел карманные, с боем.
Его — Время язвительно
изнутри оглашало собою.

Пусть мы скромны и бренны.
Но, как жемчуг усердный,
вызревает в нас Время,
как ребенок под сердцем.

И внезапно, как слон,
в нас проснется, дубася,
очарованный звон
Чрезвычайного Часа.

Час — что сверит грудклетку
с гласом неба и Леты.
Час набатом знобящим,
как «Не лепо ли бяше».

Час, как яблонный Спас
в августовских чертогах.
Станет планка для вас
подведенной чертою.

Вы с Россией одни.
Вы услали посредников.
Смерть — рожденью сродни.
В этом счастье последнее.

Тогда вздрогнувший Блок
возглашает: «Двенадцать».

Отрок сжался в прыжок
к амбразуре прижаться.

Для того я рожден
под хрустальною синью,
чтоб транслировать звон
небосклонов России.

Да не минет нас чаша
Чрезвычайного Часа.

Братская помощь

Г. Джагарову

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаем, где свои.

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.
Мама! У него глаза — твои.

Два берега с мостом понтонным
глядят, как редут на редут.
На левом, болотистом, тонут.
На правом спасатели ждут.

Когда правый берег в подпитии,
кричит, когда выйдет поссать:
«Топите, топите, топите,
чтоб было кого спасать!»

Лукавое эхо на сайте
доносит русалочью прыть:
«Спасайте, спасайте, спасайте,
чтоб было кого топить!»

Ночами из зубцов кремлевских
встают шеренгой мертвяки
тоскою безголовых торсов...
Над вырезами их матросок —
пустынные воротнички.

У храма, где погода голубая,
я деревце ореха посадил.
«Тимотес, — повторяю я, — Убани,
ты — самых синих фресок монастырь».

Я через год вернулся. Древо это
растет наклонно, ствол перекося.
Оно тянулось к фресковому свету,
чей синий пересилил небеса.

Хранится в моем шкафу
не один труп.
Из бревен в моем глазу
можно построить сруб.
Но Слово, что я скажу,
слетало с ангельских губ.

Как солнце низко, Туманный Парень!
Доисторическая тоска
стоит, как радуга,
 испаряясь
немою
 музыкой
 с языка!

Жизнь не туманна — она железна.
Нам мотонарты кричат в снегу,
будто оранжевые жилеты
людей,
 работающих в пургу.

Безоблачное небо.
Вороны черный зонт.
Сверкнул, как ручка, ключ.
Где спрятаться, свернув?

«Будь проклята, вечная мерзлота!»
Кумысный спирт развязал уста.
«Давайте растопимте этот лед.
У вас есть ГРЭС в мильон киловатт.
Природа избавится от мерзлот,
кругом зацветет невозможный сад!»
«Спасибо, гость, за красивый тост,
но если растопится вечный лед,
вода в глубины из почв уйдет —
будет пустыня на тыщи верст».
Я выпил тост, я усвоил суть.
Но губы неслушающегося рта
спьяну никак не произнесут:
«Да здравствует вечная мерзлота!»

Нависает наполовину
с телеграфной тугой струны
вертикальная паутина —
как хрустальный генплан Москвы.

Беловежская панорама.
Паучок лесной хитроват.
Осторожнее, телеграммы!
Не стряхните его Арбат.

Манеж

Манеж был Фалька гробовщиком,
теперь в Манеже — Гребенщиков.

Бабушки третьего тысячелетья,
пока вы дети,
подняв двуперстие, тряситесь, предки,
как будто в небе ища розетки,

где ток небесный струится в ваттах —
восьмидесятах, шестидесятах...

Не пирамидам, не древней эротике,
не кружевным кафедральным массивам,
я поклонюсь на картофельной родине
картошке — спасительнице России.

Я поклонюсь этим клубням разлапым,
давним кострам ритуальной ботвы,
я поклонюсь нашим всеобщим бабам
в очередях затемненной Москвы.

Эта внедрившаяся культура,
в нас обрусев, пропитала страну.
Как усмехнулась старуха под Тулой:
«Картошка выиграла войну».

И не бывает яств безрассудней —
выйдя в ночное с луной молодой,
взять из золы раскаленные клубни
и перекидывать на ладонь!

Не повлияли Матиссо-Гогены
на омовение красных коней —
может, кричат мексиканские гены
в сыне картофельных полей?

Вот почему забайкальские скулы
в гвадалахарской вижу толпе.
Вот почему по-испански тоскует
лабух малаховский на трубе.

В первооснове жизни и слова
культуры, обмениваясь, шумят.
Вы нам — картофель, мы вам — Вишневым
непостижимый чеховский сад.

Сад этот заполнил все столицы,
его не вырубить и не постичь.
Зачем вы ездили за границу?
Предков почтить.

329 Предшествующая
творенью

Кладбище грузинского шрифта

(на мотив Р. Маргиани)

Много в жизни мемориалов.
Но одна меня мучит тризна.
Где-то в памяти затерялось
кладбище
грузинского шрифта.

В горьком мае сорок второго
под огнем, отступая наскоро,
нам вручили приказ похоронный:
закопать
грузинскую азбуку.

Весь состав фронтовой газеты,
над отцовской могилой будто,
мы, наборщики и поэты,
хоронили
грузинские буквы.

Сто локтей мы тебе отсчитали
в неподатливой
почве крымской.
Сто столетий тебя читали —
твои звонкие очертания...
У, война, чтоб ты сдохла,
грымза!

О язык мой грузинский милый,
никогда я тебе не был пасынком.
Как мы рыли тебе
могилу!

Хоронили грузинскую азбуку!
Как разбойник хоронит слитки
или в землю кладут товарища,

мы свинцовые слезы шрифта
предавали земному кладбищу.
Для того ли творят молитвы
на тебе, избегая кривды,
чтоб в могилу лег алфавитный
стройный строй
грузинского шрифта?
Я из ящика шрифт изящный
в зев могильный
высыпал сверху
и услышал вдруг леденящее
надо мною подобье смеха.
В чьих пространствах
потом ни буду, —
вдруг слеза полоснет как бритва, —
мне сквозь землю проступят буквы
погребенного мною
шрифта.

И сейчас, как в поту холодном,
я пишу под луной-образиной —
как мы часто тебя хороним,
мой любимый язык грузинский!
Как мы часто тебя хороним,
забывая, чураясь словно —
возлюбленное,
коронное,
искреннее слово!
В мае сорок второго года
мы тебя схоронили в яме...
Соловьиные твои всходы
после нас
прозвенят над нами.

Выгнувши шею назад осторожно,
сразу готовая наутек,
утка блеснула на лунной дорожке —
с черною ручкою утюжок.

Ах, переход в полосках белых
асфальта между двух канав!..
Лежала улица и пела,
кусок тельняшки показав.

333 Предшествующая
творенью

Веревка и каска
и ноги предтечи.
Большая качка
заоблачной речи!

Стою на вершине,
случайная буква.
Мчит реамашина
безумною клюквой.

Простимся, Тишинка!
Ах, буквы рынка,
стручки —
как пуговицы в ширинке.

Внизу вечереет,
стоит за черешней,
гудит в чебуречных
народ, зодчий речи.

Народ — зодчий речи.
Мы — только гранильщики.
Во Времени вечном
Речь — наша хранительница.

Мы — буквы живые
в отпущенном сроке,
у высшего Пушкина
в сказанном слогe.
Стоит он над нами,
презрев безопасность,
с цилиндром в руках,
что служил ему каской.
Над светскою чернью,
над сплетней усердной,
над окололитературною серью!
Великие ветры пронзают лопатки.
Он даже и летом
не снимет крылатки.
И, чувствуя силу,
что не программируется,
шепчу я: «Спасибо,
Речь, наша хранительница!»

II

С земли корректирует медную ковкость
народ Маяковский.

И горло другого от выси осипло.

Не стойте под Словом,
чтоб вас не зашибло!

Не медь — матерьял
речевого состава —
людская печаль,
и мученья, и слава.

Зураб Церетели
в комбинезоне,
как меч, целовал
эту медь бирюзовую.

А вы подымались,
где я подымался?

Где речь — опора,
а не туманность.

Не надо мне крана!
Как раньше провидцы,
сам в небо подтягиваюсь
рукавицами.

И с пушкинским профилем
спутник курчавый
кричал мне: «Попробуй!
Качает? Качает?»

Я лесенкой лез —
позвоночником Речи.

Народ Кузьмин
говорил мне: «Полегче!»

Кузьмин Михаил —
чародей Петербурга.

Кузьмин Алексей —
пишет по небу буквы.

Не смоете губкой,
не срезать резинкой
с небес эти буквицы
русско-грузинские.

Такого ни в Цюрихе,
ни в Семиречье —

прокрашенный суриком
Памятник Речи.
Два века
 Георгиевскому трактату.
А через два века
 кто-то, когда-то,
прочтя наши впайки,
 шепнет над гранитами:
«Спасибо за памятник,
 Речь, наша хранительница!»
Взойдет и над ним
 голубой позолотой
венец в виде «О»,
 что венчает работу.
О небо! О вечность!
 О страшные годы.
Народ — зодчий речи.
 Речь — зодчий народа.

III

Что думаешь, Речь,
 нам лица не показывая,
тяжелым венцом
 над Москвою покачивая?
А может быть, это
 в руке у Вечности
чуть-чуть покачивается подсвечник?

Другая рука с непонятною силой
луну донцем к нам,
 как свечу, наклонила.
Вставляйте в подсвечник
 луну небосвода!

НАРОД — ЗОДЧИЙ РЕЧИ.
РЕЧЬ — ЗОДЧИЙ НАРОДА.

Шофер молчит. Он груб, неряшлив.
Шоферу снится генеральша.
Он всю дорогу говорит
про смех ее и габарит.

«Она, бывало, крикнет: — Семка!
Не влажу в ванну, помоги! —
По кафелю, как будто семга,
Пылают алые круги...

В округе как грибов девчат...
А у нее плеча звенят».

Заехать бы ему по ряшке.
А дождь идет, перестает.
И дивный гений генеральши
летит, опершись на капот.

Ее сметают очистители.
Она юна и ослепительна.
Шофер, волнуясь, гасит газ,
как в новолунье синеглаз...

И пусть он врет свою любовь.
В округе девок — как грибов.

Я не в Кармен — в Кар-умен верю,
какая дрянь бы с неба ни текла —
Тебя я вижу через веер
расчищенного щетками стекла.

Любовь — это когда в горе
прячут друг в друга самое дорогое.

Так в пик казней
родился скрипач В. Пикайзен.

А Ахмадулина Белла,
думаю, родилась в 37-м, как протест против расстрела.

Не поняли евангелисты.
Не к небесам Он руки простирает,
когда легионеры-металлисты
вгоняли в сухожилия металл.

Возьмемся за руки перед разлукой!
Он этим к воскрешению готов,
глядит с креста, протягивая руки
разбойникам с соседних двух крестов.

Проглядев Есенина, упустивши Пушкина,
думаю, что люди создать должны
«Общество охраны памятников будущего»
параллельно с Обществом старины.

Наденьте белые рубахи
на проводы естественной эпохи —
в Историю коровьи лепехи
уйдут торжественно, как черепахи.

Бьют по звуку полет над зорьками
близорукие дальнорюкие.
Видят космос вместо Калуги —
дальнорюкие близорукие.

Озверели затворы, лязгая.
Не для Славы, не для Георгия
всё стоят на глазах с повязкою
близорукие дальнорюкие.

Лжеподвижниками пытаются
обзывать вас. И лженаукою.
Экстрасенсы прозрели пальцами —
яснорукие!

Андромеды. Гомер — аппендикс,
по ошибке не удаленный.
Обожаю слепые песни!
В них дозренье неутоленное.

Исполать вам, пророки руганые!
Путевые столбы? Позорные!
С них глядят на нас близорукие —
близорукие дальнорюкие.

Кого боится Вирджиния Вульф?
Того, кто боится расстегивать гультф.

345 Предшествующая
творенью

Читаю небо, став душою зорче.
«Я + Ты» — написано окрест.
Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в небе крест.

«Ястреб + облако» — написано над местностью.
Гора + город. Даль + даль.
+ золотая неизвестность,
+ просветленная печаль.

А к вечеру Луна + Солнце,
подчеркнутые линией хлебов.
«Я + Ты» — стоит над горизонтом.
«Небо + Я = любовь».

Оппонентам

Так поэзия и движется.
Вам шипится, а мне — пишется.

347 Предшествующая
творенью

Поединок

Ихний через полчаса
появился, пол чеша.
Но наш меч отточенной.
.....

Река Вечности. По ней
плывут дырочки ноздрей,
встав, как двоеточие.
:
.....

Between нас был невозмутим
бедуин баскетбольных корзин.

349 Предшествующая
творенью

CHRISTMAS, CHRISTMAS
над Нью-Йорком.
Рождество не гасит свеч.
Верхолазы крепят к елке
высоченные Си Эйч.

Едет в бричке Санта Клаус.
В этих буквах надо всем
я читаю, запинаясь,
наши русские С... Н...

С Новым, с Новым, с Новым, с Новым,
с Новым духом над землей!
С вьюгою антисановной,
с новыми тобой и мной.

Человеческое племя
понимает парадокс —
снег бывает к потепленью.
Мир достаточно продрог.

Снег идет антитоксичный.
Мне почудились, кося,
у нью-йоркского таксиста
москворецкие глаза.

Я пошлю в Москву открытку,
вслед за нею полечу,
у заснеженной калитки
сам ее и получу.

Жизнь в предпраздничной уборке
ищет новые пути.

Мало вытряхнуть бурбонов.
Надо новое найти.

С небывалым снегопадом!
Хватит старого вранья.
Только правда, только правда,
только правда и нова.

Пусть плохое прекратится.
Пусть покончит этот год
с гидрою бюрократизма —
как ни рубишь — все растет...

Снег идет свободный, рыхлый,
он вминается в шагах,
как вминает клавиш Рихтер
на Декабрьских вечерах.

Что за Гость залетел на планету Земля
в пятизвездном отеле Кремля?
Чего для
он на башни, которыми окружен,
словно связки сушеных грибов,
примеряет в окладе фальшивых корон
оскорбленные тени орлов?

Марьяна

Эта женщина — многострадалица,
за чужие беды — удавится!

Дальнозоркая многостаночница —
ей далекий родным становится.

Сердцем в боли людские тычешься,
осчастливливаешь, многотысячница.

Мука жить, в оком акая,
лишь в дому своем — близорукая.

Спасатель

Он, говорят, сидел за человека.
Спасатель он.
Свези меня, спасатель, через реку,
Антихарон.

Когда он возвращается в субботу
с тяжелым дном,
грозит ему из лодки безработный
старик Харон.

Немало душ он перевез оттуда —
темна вода, —
с тех пор как он неверную подругу
отвез туда.

Немало жизней в форме и гражданских
взял с глубины,
но женщина не хочет возвращаться
с той стороны,

где прошлого пленительные возгласы,
где колются, где пьют одеколон...
И отвернет свое лицо без возраста
Антихарон.

Подружка-жизнь, красивая дуреха,
маши-маши с ромашковой горы!..
И делает реке татуировку
рой мошкары.

Другой — но от заката ли? — неясно —
рой золотой
толчется ореолом неотвязным
над головой.

Он дом завел. Когда свободен, удит.
Дети пошли.
А тепленький когда, угрюмо шутит:
«Утопленники жизнь мою спасли».

На соловья не шлют доносов скворки,
у них не яд, а песня на устах.
Мне жаль тебя, завистник-стихотворец,
слабак в стихах, ты злобствуешь в статьях.

I

Пронеслась Россия с гулом.
Как в туннель, народ мелькнул.
Русская литература
называют этот гул.

Кто вливает виски в тюрю,
кто бежит к зарубежу.
В русскую литературу,
как в тревогу, ухожу.

Я отвечу на «ату его!»,
но не вам, тов. господа.
Русская литература,
ты — преддверье Господа.

Ты, в которой вместо текста
черно-белый шрифт берез,
ты, которая естественно
совесть повестью зовешь...

Ежели свобода-дура
в нас осуществит сполна
геноцид литературы —
то свобода ли она?

II

Что такое книга? Трудно
вам вообразить уже.
Телик с титрами? Но трубка
подключается к душе?

Что такое книга? Или
отработанный прием?
или генофонд России,
притворившийся шрифтом?

По тебе гадаю, книга,
ты дрожишь в моих руках —
безголовая, как Ника
о двух крохотных крылах.

А какая тайна чтенья,
вдвоем, в сквере где-нибудь!
От плеча идет волнение:
«Можно ли перевернуть?»

Так тысячелетье длится
наше чтение сообща.
Превращаются в страницы
два прижатые плеча.

III

Ты не только слезы Лизы
среди кризиса бумаг,
ты — ломоть идеализма,
территория в умах.

И какую форму примут
без тебя наши дворы
и беременный периметр
Вифлеемовой горы?

«Что такое Дух?» — расстроюсь,
врубит гид по телетуру.
— А куда мы сдали совесть?
— В русскую литературу.

впрыгнула на крышу, как на спину лошади,
и умчалась всадницей со двора.

Держи беглянку! Ее стреножили.
Врыли в землю. Но еженощно
тайком уезжает куда-то всадница,
а к утру возвращается в слезах и в ссадинах.

ХОР:

Едет, едет по России всадница,
поит, поит водой с седла.
К ней бродяги тянутся, по ней слезы катятся.
Под Коломной башенку родила.

Едет, едет по мукам всадница,
как исповедальница Катюш и Сатиных.
Сбила душегуба, потупя взор,
въехала к молящимся в собор.

Едет, едет по свету всадница
к Вестминстеру, к Эмпайру, к Башне бед.
От нее прямая улица в Останкино —
в десять километров и 300 лет.

Поле брани

О поле брани,
на хуторе, в языческом бурьяне!
Грибы-порнухи шевелят губами.
Как в бане,
инстинкт народа здесь без плавок и салопа,
и бык азийский проникал в Европу.

Вальпургиева ночь на поле брани.

На душу населенья матом духа
мы посрамили Запада порнуху.

Да здравствуй, речь Баркова и Баяна!
Рек перебросчик окаянный
Обь, твою мать, вспячь обратить не вправе.
Ее помянут в ужасе аварий
и вспомнят с ностальгией в Амстердаме,
на Брайтоне
крыжопольцы и витебляне...
Вернемся к маме.

Поле брани
застроено многоэтажной дрянью.
Что вам покажут из оконной рамы?
Откусанные полбаранки?
Концерт для пипифакса и соврано
и бритвы «Браун»?
О, самобранка
писательских открытых партсобраний...
А я вставляю в уши группу «Браво».

Избранница моя!
По полю брани
ты бродишь, собирая икебаны,
ты фору дашь всем пресловутым гейшам,
когда вздохнешь на русском,
на чистейшем...

О поле праны...

Княгинюшка несет в ведерках воду.
И слезы счастья льются по лицу:
«Ребеночка по имени Свобода,
преступная, под сердцем я несу.

Простите мне, подружки над Невой,
что валенки Сибири тяжелы,
что нет меня меж вашей гурьбою.
Как я любила царские балы!

Простите меня, девичьи печали...
Но я себе вовеки не прощу,
что нет меня сейчас в дворцовом зале,
чтоб выцарапать очи палачу!»

Мы говорим о форпостах,
но забываем,
что висим на вопросах.

Вертикальное шоссе —
отутюженные брюки —
висит на плечиках
железнодорожного моста.

Прощание
повисло на плечах мужчины.

Тишина дома
висит на дверном крючке.

На чем висит страна?

Куда ты ушла?
В темноте шкафа
вместо твоего белого вечернего платья
поблескивает
металлический вопрос.

Дыба-воевода

(на мотив Т. Аргези)

Слава, слава Владу-воеводе,
в мире утвердившему покой и лад!
Слышен лист, дрожащий в чистом небосводе.
На земле бояре, как лист, дрожат.

Он большой мыслитель, Влад непобедимый,
гуманист деяньями и душой,
он сажает на кол бояр любимых,
зад соединяя с головой.

Дорогим боярам приготовив свечку,
он от христианства не отошел —
ставит в церкви свечи в честь жизни вечной,
каждому по чину выбирая кол.

Кол из кипариса подобает визирю,
кол из лучшей липы пойдет послу.
Благостный епископ над страной возвысился
на ароматизированном колу!

Чтоб восславить Влада, съезжались гости —
во дворец съезжался совет страны.
Закипали кубки, взвивались тосты:
как все любят Влада и как верны!

И пока оратор говорит: «Спасибо!» —
Влад соображает, припав на стол:
«Какую б тебе, милый, придумать дыбу,
какой бы получше приготовить кол?»

Пляж душ

Пляж тел,
сброшенных нами, сужался и золотел.
А за заливом белел Гиндукуш —
пляж душ.

Я заплываю с Тобой на наш
пляж душ.
Сбрось свою талию от Кураж,
не трусь.

Полный там пуст, там златоуст
гнетущ.
Вряд ли Лелюш, может быть, Пруст —
пляж душ?

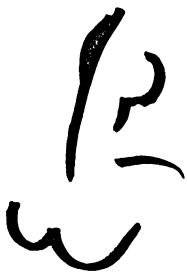
Там абсолютный, самый нагой
нудизм
сбросивших ласты, голых душой
ундин.

Мисс Неожиданность? Мисс Доблесть?
Мисс Чуть?
Мисс Дура там не только topless —
вся уж...

Школой затюканная — малыш,
коклюш,
станет Блистательнейшею мисс
Пляж душ.

И мандельштамовская душа —
аполлонически хороша...

Но покидаем с Тобой астрал —
в мир дел! —
Как бы фигуру твою не украл
пляж тел?



У тебя развязался шнурок,
и, согнувшись, как прут для корзины,
в узел пальцами рук и ног
ты завяжешь упругую спину.

Ах, какого движенья урок!
Ты сожмешься в сонете пружинной,
и свободного свиста залог
в миг, как только тебя я покину.

Что за свежесть в себе растворять
мир движений твоих золотых,
повторяю — какое везенье!
Ожиданье тебя потерять.
Изо всех состояний твоих
обожаю движенье.

Сто радуг канареечных,
смешайтесь в белый цвет,
как страны и наречья
смешались в Белый Свет.

Так белая бумага
таит в себе цвета,
Ван-Гоги бумерангом
сигают из листа!

Да здравствует же радуга
во имя белизны!
За белоснежность ратуя,
зеленого плесни!

Безумствуйте, влюбленные,
по зелени аллея —
чем зеленей зеленое,
тем белое белей.

Жми, заяц, наворачивай
от рыжих кобелей.
Чем яростней оранжевый,
тем белое белей.

Мужайся, оклеветанный,
овечкою не блей —
чернила фиолетовой,
но белое белей!

Художник, будь спектральной.
Душой не индевей.
Чем индивидуальней,
тем ты общественной.

1

«Жемчуг в разлуке умрет — его умертвляет
шкатулка».

(Из Катутла)

«Гений — наоборот! — в тюрьме огражден от
халтуры».

(Цезарь — Катутлу)

«Цезарь в Катутле живет».

(Геродот)

2

Восстанови Карфаген.

Не полемизируй с орущим.

Пусть он еще не разрушен,

молча зажги автоген.

Восстанови Карфаген.

3

Не оскверняйте святынь,
тех, что не в прошлом, а ныне.

Хрупки живые святыни,
гипс в них еще не застыл.

Вам не убить Паганини!

Ждут поколения иные —
не оскверняйте святынь.

4

«Музыки прежде всего!»

Ногу обнял футболист,
как напряженную цитру,
мышца гуляет по ней,
словно по цитре ладонь,
В теле, пока молодом,
музыка ненасытна,
Музыкой сердце болит.

5

Третьего не дано.
Или ты — черевичный сапожник,
или ты — чечевичный художник,
гений или дерьмо.

6

Не унижайтесь до слов
против брани недопустимой.
Вдруг набегут филистимляне?
Не обижайте ослов.

Пост

«Пост, христиане! Ни рыбы, ни мяса,
с пивом неясно...»
Рост различаю в духовных пространствах
постхристианства.

Постхристиане стоят под мостами Третьего Рима.
Дергает рыба, как будто щекой Мастрояни.
Те рыбаки с пастухами Евангелъе сотворили.
Где ваша Книга, постхристиане?

«Наши Марии — беременные от Берии.
Стал весь народ — как Христос коллективный.
Мы, некрещеные дети Империи,
веру нащупываем от противного.

В танце зайдись, побледневшая бестия,
черная школьница!
Пальцы раздвинув, вскинешь двуперстие,
словно раскольница».

Так, опоздавши на тысячу лет,
в темных пространствах
мучая душу, тычется свет
постхристианства.

Скоропортящиеся поэты!
Успейте сказать, пока помните это.
Рисуйте, художники, денно и ночью,
руки напряженье под ноющей тяжестью ноши.

Снимайте, киношники, ночью и денно
падение плодов в измерении том,
где, тяготы уравновесив,
оттягивал чаши земных полновесных мадонн.

Спешите вдыхать дефицит кислорода!
Листву в целлофан человек обернет
и будет, как из персональной коровы,
из липки под вечер доить кислород.

Как им тяжело в невесомой свободе
Счастливчик чугунную гирию найдет, точно грех,
В ней будет запаян последний глоток кислорода.
Он вскроет и выпьет ее, как орех.

И он ощутит позабытую сладкую тяжесть,
Как ноша ягненка вздымает орла.
Он женщине про беспокойство расскажет.
И женщина скажет ему:
«Тяжела».

Песенка из спектакля

Мы пришли на именины
поэмимы, поэмимы
(мамы — рифмы, папы — мимы,
получались поэмимы).

Было б грустно,
не пойми мы,
в чем искусство
поэмимы.

Снимем гримы,
срежем маски,
средства-мини
сердца-макси.

Подними меня, пойми меня,
но свободно, без нажима.
Наше имя — наше имя —
поэмима, поэмима.

Мы живем, меняя позы,
спины гнем, в мечтах парим мы,
но пойдем довольно поздно,
что свершаем поэмимы.

Пианино, пианино
интересно лишь для слуха.
Поэмима, поэмима —
связь телесного и духа.

Сбросьте скользкие сапожки.
Ремесло на вид невинно.
Ошибешься — расшибешься.
Беспощадна поэмима.

1972

От Ховрина и до Мехико
под парусом новых халуп
мы верим сегодня в Сантехнику,
как в «Санта-Марию» — Колумб.

— За что тебя, Авель? — За кафель!
Но все это пошлость и чушь,
когда, словно музыка с клавиш,
пошел очищающий душ!

Всплывут над водою зеленой
ног крохотные персты —
как крылышки утомленные
появятся у воды.

Волшебные их отраженья
беспечно напоминали
то в виде пичуги печенье,
то маленькие цимбалы.

Торчат золотей Тициана
два краешка жизни твоей —
по пальцы обрезанных ванной,
натертых на танцах ступней...

Душ брошен и корчится шлангом.
Прошла уже тысяча лет.
А он все зовет ее «ангел».
Другого названья нет.

Отогнувши средний подлокотник,
на один пристегнуты ремень —
кто они — подруга и поклонник?
что под ними — Рим или Тюмень?

Как две половиночки фасоли,
прижимаясь, над землей летят.
А под ними славы и позоры,
черно-золотой сентябрь!

Их обыскивали на вокзале,
в ней искали взрывчатый продукт,
но они о главном не сказали —
что всех пассажиров покрадут!

Экипаж и публика в угаре.
К временам Лаур и Суламит
самолет любовники угнали —
их уже не приземлить.

«Не возникай, — скажу я, — дура
нелепая, не возникай!»
Не возникай в привычках, думах,
во всех оконных сквозняках.

Не возникай. Я наг и грязен,
как Одиссей у Навзикая.
Не возникай за гранью разума
и психики, не возникай!

Когда я не с тобой бываю,
хотя бы там не возникай,
ты, будущая и бывшая,
не возникай в чужих звонках.

Не возникай волненья запахом,
в тьму зала дверь приотворя.
Дрожит за дверью с медной запонкой
полоска тельная твоя.

Ты невозможна! В полвосьмого
не возникай, ни в два, ни в шесть.
Ты в этой жизни невозможна —
только поэтому ты есть.

(на мотив *Махамбета*)

Вы выдумали — мы стадом плетемся,
поганым, покорным, покойным?
По коням! По коням! По коням!

Оскомина от формулировок окольных —
по коням!

Полковник, как ваша печенка?
Мы ею шакалов покормим!
По коням! По коням!

Вы, кони, дожуйте
свои ебельки!¹
Взбешенно до жути
скосите белки —
в погоню!

Кто не на коне —
значит, тот под конем.
Чем гибнуть в огне,
лучше станем огнем —
по коням!..

...Порублены кони мои.
Порезали лучших под корень.
И все же — по коням!
Мы мертвых коней оседлаем и свистнем
походом —
по годам, по годам, по годам!

1971

¹ Ебелек (*казах.*) — растение.

Игра в наперсток

Сыграем в наперсток, подросток!
Зачем на вокзальных столах
Россия играет в наперсток,
как если бы пить перестав?

На крышках литых «дипломатов»,
на досках судьбы, наугад
среди машинального мата
взамен игровых автоматов
два страшных наперстка стоят.

Как дышат железные поры!
Вверх-вниз.
Я слышу подземные хоры —
винись!

Милиционера с наколкой
подкорка дрожать повела —
как будто железный раскольник
двуперстьем встает из стола.

Не мучай души, подымало!
Один из них будет пустой —
как будто чернец однопалый
обрубленной тонет рукой.

Проходишь ты без попутчика,
подняв воротник двубортный,
как клочок неба в тучах
обиженно-голубого.

Ты не попала в раму.
Только вздохнешь глубоко.
Скроется за углами
обиженное голубое.

Сдуло тебя ветрами.
Осталась кому угодно
невзятая телеграмма
поспешного голубого.

Обманутая погода!
Плацкарта до Бологого.
Не пойманное позолотой
свободное голубое.

Как ты кричишь, садовая скамья,
изрезанная клятвами хамья:
«Марина бля»... сих мыслей окромя
«Блинов + ж» + «Крамеров семья».
Кто зеброй отпечатался в скамью?
Аполлинер здесь распивал Камю.
И, все смывая, рейки вниз струят,
как по порогам сельский водопад.
И вниз сползут влюбленные зады
по склону деревянной той воды.
Слетает юность, бывшая людьми,
гусеничным конвейером скамьи.
Зима с весной смешается в саду.
Но почему, когда я ни приду,
на той скамье мы тыщу лет сидим.
Судима ты. Я более судим.

Влюбленный в слово,
все, что я хочу, —
сложить такое
словосочетанье,
какое неподвластно попаданью
ни авиа, ни просто палачу!

Мы, люди, погибаем, убываем.
Меня и палачей моих
переживет
вот этот стих,
убийственно неубываем.

Башка трещит.
Мигрень — как гость в дому,
меня не отпускает неусыпно.
Конечно,
за компанию — спасибо,
но хочется остаться одному.

Тоскуется.
Небрит я и колюч.
Соперничая с электрочасами,
я сторожу
неслышное касанье.
Я неспроста оставил в двери ключ.

Двенадцать скоро.
Время для воря.

Но ты вбежишь,
прошедшим огороша.
Неожиданно тихоголоса,

ты просто спросишь:
«Можно? Это я».

Ты, светлая, воротись, что ушло.
Запахнет рыбой,
трапом,
овощами.

Так, загребая,
воду возвращает
(чтоб снова упустить ее!)
весло.

С чем схожи выжженные дюны
первопричинные?
С мыслями Мао Цзэдуна,
что человек — песчинка?

Где вы сейчас, Великий кормчий?
Прав тем не менее
почтарь, засеявший здесь почву.
Человек — семя.

Что означает кромка Неринги
между пространствами —
соленый берег с пресным берегом
сжатые страстно?

Лишь вертолет над пляжем тянет
зрачками рачьими.
Но медногрудые нидянки
не переворачиваются.

Но только здесь, на этой грани,
растет безумно
репейник с синими шарами
с названьем Зунда.

Только на грани между безднами
морской и пресной —
цветок абсурда, синий бестия,
святой и грешный.

Забудьте сундуки и судьбы,
видеозуды,
пусть разобьется ваше судно!
Ищите Зунду!

С тобой мы встретились в пустыне.
Мне — Норд. Ты — к Зюйду.
И в спины нам колола синим,
глядела Зунда.

Перевези меня, паромщик,
дымящий «Кентом».
И возвратись уже порожним
за новым кем-то.

Я хочу тебе помочь,
шлю энергию сквозь ночь,
чтобы выдержала ты,
посылаю как примочь
прошлогодние листы
и стрекоз отсохший скотч,
чтоб не ныло при ходьбе.
Я помочь хочу тебе,
незамеченный в толпе,
лучевидную свечу
божьей ставлю я рабе,
ежедневный желтый свет,
словно ангела мочу,
сквозь стекло гляжу на свет —
есть тревога или нет?
Я помочь тебе хочу.

Боксер пыхтит в полотенцах,
хоть с детства был трусоват.
Комплекс неполноценности,
хватит комплексовать!

Экс-чемпион по серости
штурмует Гослитиздат —
комплекс неполноценности,
хватит комплексовать!

А в русских озерах ноет
печаль такой синевы,
как будто они виновники
сыновней людской вины.

Когда вымирают пуши
и реки дотла горят,
кто виноватый? Пушкин!
Поэт всегда виноват.

Природа не виновата,
что сын у нее debil.
Поэт виноват набатно,
что совесть не пробудил.

Когда у Черного моря
на дне асфальт нефтяной,
то этому черному горю
только поэт виной.

Он не созвал на вече,
не крикнул, как в газават:
«Комплекс бесчеловечности,
хватит комплексовать!»

О чем говорит мне колхозный отрок,
облокотясь на велосипед, как на перила, —
в вечернем поле, в северном округе,
свою синеву в небеса вперивши?

«Когда я гляжу на силуэт часовни —
в небе три столба с перекладиной, —
вижу: три битла несут четвертого,
убитого влюбленной гадиной...»

Солнце спускается за четвертым,
фигуры окутывая червонным...
Он говорит: не «четвертого», а «товарища».
И, не досказав, отворачивается.

Глядите в лапу клиенту нищему,
взимая плату, —
глядите лучше пианисту
в пустую лапу!

Не стоят мебельные составы
и все квартиры
просторной небыли, что та пустая
рука схватила.

Из рукава он раскинет клавиши,
как из карт колоды,
и вам, рабам «Жигулей» и кладбищ,
дает свободу.

Тебе не видно, наивный взяточник,
как этот лабух
сжимает музыку — булыжник завтрашний, —
пригнувшись, в лапах.

Дайте без очереди ему квартиру!
Пустые звуки.
Паря на ощупь, владеют миром
пустые руки.

Пусть на суше взывает доблестно
неплавающий народ,
безымянное мужество совести
к утопающему плывет.

Пусть молва потом обознается.
Ты, кто спас, уплыл под шумок.
Пускай помощь твоя безымянная,
не себе — человеку помог.

Ты потом его в городе встретишь.
И, спасенную руку пожав,
«Бог помог!» — ты шутливо ответишь.
И окажешься прав.

Будто кто секретку нарушил
или лес повели на угон —
всюду слышу — в душе, не снаружи
воровской малиновый звон.

Стасу Намину

Я писал Треугольную грушу,
для своей страны непристоен.

Миллионам открыла душу
треугольная
Sharon Stone.

Стала барышня хулиганкою,
нам мигает, не арестован,
с бесшабашною элегантностью
V-чек Шарон Стоун.

Над врагами и над околицей,
в знак протеста,
что показывает раскольница,
сжав двуперстье?

На запястье часы золотые,
а в руках ее НОСТАЛЬГИЯ.

Слезы исповеди Нагорной.
Тайны горничных телефонные.
Вальс Ростовой стал

Вальс-бостоном.

Шарф насилья —
псалмом Христовым.

Аллергия у нас на плаксивость.
Террористка вместо пластида
ищет истину на простынках
— шрам со стоном! —
всё базируется на инстинкте
SHARON STONE.
(Что любитель пивка «Трехгорного»
звал «пистоном».)

- Вот квартирка поэта.
 Вот перо на ампирном бюро...
- А что такое «перо»?
- Им водили рукою Державин,
 Матфей и Лука...
- А что такое «рука»?
- Это род рычага,
превращающий идею в создание,
 высекающий на века:
«Человек — это смысл мирозданья».
«Человек будет славен вовек».
- Как вы выразились? «Человек»?

Когда человек боится —
выделяет адреналин.
Это знают собаки
и, лая, бегут за ним.

Когда ты вбегаешь в комнату
в черемуховом платье,
за тобой залетают осы —
ты выделяешь счастье.

Я знаю одного приятеля
с тухлым взглядом деляги.
Над ним всё летают мухи.
Патоку он выделяет.

Вырулить не успеть
и не выброситься,
только русский аспект —
успеть выразиться!

Губы. Велосипед.
Храм Озириса.
Себя встретить успеть,
успеть выразиться.

Жить в клоаке такой
и не вызвериться,
в себе, Боже, Тобой
успеть выразиться.

Премьера

Крик прорезал великолепие
смятых ужасов. Се ля ви.
Чехов умер от эпилепсии
на премьере фильма «Свои».

Умер парень с фамилией Чехов.
Фильм — от ужасов жизни суд.
Не до смехов. Не до успехов.
Люди в саване тело несут.

Клочья пены эпилептической.
«Скорая» торопится, но без раболепия,
полицая пузо эпилептическое
тычет ножиком эпилепсия.

Вы скажите, актер Евланов,
гениально сыграв простоту,
почему страшней всех экранов
смерть глядит в четвертом ряду?

Кем он был? Ничего достоверного.
На фасаде лестница, как порез.
День рождения Достоевского
вдруг прозреем через болезнь?

Он пришел без друга, без женщины.
В небеса, как дуга троллейбуса.
Из процентщины, из прожженщины
вырывается эпилепсия!

Я стою, представитель плебса,
мну фуражечку очумело.
Продолжается эпилепсия.
Это еще премьера.

Товарищ мой проклятых лет,
розивелет, розивелет.

Автопортрет? Поет страна:
«Ви роза, бель Татияна!»

Над озером собор — валет
отобрази, розивелет.

Переключи розивелет —
в правительстве переворот.

Коррупционный кабинет.
Экран как рубчиком вельвет.
Ты заболел розивелет?

Как Северянинская сказка
Разведсекретный ландолет,
Иль инвалидная коляска!
Нас всех везет розивелет.

Когда Тебя со мною нет,
В меня залазит интернет.

Провизии к обеду нет.
Зову тебя розивелет.

Первый Чайковского концерт.
Оставим суету сует.
Б.Г. приходит на обед,
И Розенбаум на десерт.

Сожри меня, розивелет,
Сожри меня, как винегрет.

Цой с Анжеликою Варум
отсасывают вакуум.

Со звездной фабрики народ
сожрет меня наоборот.

«Прощайте, выхожу из клуба
и ненависти, и любви.
Сквозь окровавленные губы,
недопитые твои».

Меня сожравшему — привет.
Да здравствует розивелет!

Дружили, как в кавалерии.
Врагов посылали на...
Учила меня акварельить
Наташа Головина:

«Что моет нам кисти? Разве
не женский эмансипат?
Андрюша, попробуй грязью
красивое написать!»

Называется нейтральтином
задумчивый смыв кистей.
Впоследствии Тарантино
использовал слив страстей.

Когда мы в Никольском-Урюпине
обнимались под сериал,
доцент Хрипунов, похрюкивая
хрусть томную потирал.

Была ты скуласта, банзаиста.
Я гол и тощ как горбыль.
Любил ли тебя? Не знаю.
Оказывается — любил.

Мы были с тобою в паре.
Потом я пошел один.
Обмывки страстей создали
чудовищный нейтральтин.

Выходит, шедевр тем краше,
чем больше в мире дерьма.
Оправдано кредо наше,
Наташа Головина.

Сад осенний как Кустодиев.
Легли наземь листопады.
В акустических пустотах
придвигаются фасады.

Всюду сдвинутые гаечки.
Рядышком бывшие дни.
Юность, детство придвигается,
мама, Бог ее храни!

Ни фига себе навигация.
Всюду тронулись суда.
Приближаясь придвигаются —
только не понять куда!

Нагни позвоночник ликующий.
Когда, безоглядно и древне,
Тебя волшебной лягушкой
начну превращать в царевну.

Море

Море — бескрайнее, как китайцы.
Когда ж заболит,
то вдруг начинает камнями кидаться.
Антиглобалист!

Жмурится море целыми днями,
а то сразу в слезы
и начинает швыряться камнями.
Ну, китаёзы!

Загадка ЛФИ

Засунув руки в брючные патрубы,
катая яйца возбужденья для,
вы мне сказали про солдат Партии:
«Нужна в хозяйстве и грязная метла!»

Сейчас все кажется сентиментальщиной,
чуждо:
Вы были главным эпохи подметальщиком,
я — выметаемое дерьмо.

Опали крылышки махаонные.
Команда подметальщиков, увы, мертва.
Осталась самострельная, самоходная,
самоуправляемая метла.

Зачем Вы стали погромщиком маньяковским?
Стали демоном ненависти, нелюбви?
Тайным собирателем картин Маковского?
Почти тезка Ильфа — ЛФИ.

Зачем Вас вымели? Вывернули выдрою?
Сдали замминистром в Йошкар-Олу.
Может быть, за то, что мне тайну выдали
про государственную метлу?

В склепе запакованный в стиль нашего Капоне,
как гранит рокфоровский исчервлен,
кто расслышит стон Ваш заупокойный,
Леонид Федорович Ильичев?

Ю. Д.

Юрий Владимирович Давыдов.
Смушал он, получив «Триумф»,
блатную шапочкой ликвидов
наполеоновский треух.

Бывалый зэк, свистя Вергинского,
знал, что прогресс реакционен,
за пазухою с четвертинкою
был празднично эрекциянен.

На сердце ссадины найдут его.
Стыдил он критика надутого:
мол, муж большого прилежания
и ма-алого дарования.

Бледнели Брежневы и Сусловы,
когда, загадочней хасидов,
за правду сексуальным сусликом
под свист высказывал Давыдов.

Не залезал он в телеящички.
Мне нашу жизнь собой являл.
И клинышек его тельняшки
звенел, как клавиша цимбал.

Вне своры был, с билетом волчьим.
Он верил в жизни торжество.
Жизнь поступила с ним, как сволочь,
когда покинула его.

1

Я поздравляю Вас, Марлен Мартынович!
Изящный носитель крутых седин.
Я бы назвал — Марлен Монтирович,
Марлен Картинович,
Антиминфинович,
друзьям — Мартелевич,
врагам — Мортирович.
Антимундирович такой один.
Нет Маркса, Ленина — есть Мерилин.
Марлен, как «шмалер», незаменим.

Для нас Вы были Политехничевич,
хрычи хрущёвские Вам ленты резали,
аполитичный, не чечевичный,
Вы — очевидец новой поэзии!

Когда нас душат новые циники,
наследнички, нынешние ЦК,
мы посылаем их на Хуциева!
Пока работаем на века!

Марлен Мартынович, надежда малая
была когда-то, сейчас — не то.
Время — как рана с присохшей марлею
от Мерилин до Марлон Брандо.

В губернии скука и троюкуровщина.
Нет Маркса, Ленина, но есть Марлен!
Я бы назвал Вас — Марлен Триумфович.
Вы — марли времени, феномен.

Марлен, инднееют хмарью
больные углы колен.
Ландшафтники Вашей марлей
Кремль упаковали, Марлен.



Скучен твой страшный
ор в неглиже.
От раздражения
скушай драже.

Удаляются во времени
и пушкины, и пастернаки.
— От кого Ты опять беременна?
— Вурдалаки.

Таня Ларина спит, бабуся.
Мчит кибиточка удалая.
Над губою краснеет бусинка —
вурдалачка.

И Гоген с его таитянкой,
и Пушкин с его анчаром
бессмертье из смертных тянут
на шару!

И женщины легковёрные
чередой керосинных ламп:
Лермонтов —
вамп.

Мерлин вряд ли была святая,
как хотелось вам бы.
Цветаевы —
вампы.

Возрастные пятна форели.
Все мы — доноры ГУЛАГа.
За «Мадонной» Рафаэля —
тыщи рожниц вурдалака.

Слово юзеру и лазеру.
Мост качается на вантах.
Дальше — недоступно разуму.
Мозг кончается на вампах.

Вы — вампы,
с утра несчастные банты,
крутые, как ртутные лампы,
Лолиты и Иоланты,
пиявки а-ля Вивальди —
вам кровь живую подайте! —
пить просят больные гланды
Веласкесовой инфанты.

Мне в птицах шприцы чуются —
вы — вампы,
беззащитные чудища,
трансплантирующие таланты.

Идея
смеялась и плакала,
рожденная кистью Ван Дейка,
сейчас обернулась вурдракулой,
Вандеей.

Вы — вампы...
У всех мобильники!
Всё больше неестественного,
искусственного.

Автомобильный
нерест летит из Кунцево.
С обочин мигают, как лампочки,
озабоченные вурдавалочки.

Мы все дерём у Монтеня,
устали от террора.
Но вторая материя
хочет крови от первой.

Примешивая к лаванде
веселящийся газ,
василевские ванды
доносили на нас.

Вампилова утопили.
По-английски «болото» — «вамп».
Вурдалагерная Россия,
ты теперь обоюдный вамп.

Озы сбросят наркозы,
наркотический ямб
оставит следы на коже.
Я — вамп.

Я жизнь сосу из читателей,
черепок кровеня.
Но Мадонне Констабиле
не прожить без меня.

Моей донорской кровью
помогая десанту,
жизнь вторую открою
я Марселю Дюшампу.

Катерининская береза
тронет бедрами — и мне амба.
По-родственному разберемся.

Мы — вампы.

Не оскудели пиршества,
российские Сан-Суси.
Я столько дружил с вампирами —
проси мою жизнь, проси!

Своей красотой отвязною,
затылочек золотой,
что я накопил, отсасывай,
вампириствуешь, Ангел мой!

Свобода нам — каталажка.
Твой рот — перочинный нож.
Красивая вурдалачка,
без крови моей умрешь.

И некто потусторонний,
поступками не шокируя,
какой-нибудь пост-Ставрогин
пьет кровь из Рафа Шакирова.

Мир полон, как вирусы, фирсами,
их создали бумагомараки.
Лигу Наций создать Вудро Вильсона
угораздили вурдалаки.

Купите онучи от фирмы Гуччи!
Русалкины штучки — могучей кучки.
Балакиревы —
вурдалаки.

Беслан нам ввел внутримышечное,
шарамыжникам и волхвам.
«Русалка» опустошила Даргомыжского —
вамп.

И маячат вдоль Кандалакши
свободные, как такси,
красивые вурдалакши,
Господи, их прости!

Единственно неподсудная
сосущая страсть питья —
сообщающиеся сосуды
Бытия и Небытия.

Пусть другие
ваши рейтинги
обсуждают широко.
В самом страшном из столетий
нам с тобою — хорошо.

Хорошо, что нашей паре
По хую всё, ангел мой.
Хорошо, что мы совпали
не с эпохой, а с Тобой.

Рифмы прозы

АРХИ-ВЕК покидает нас. Архичудовищный, архимучительный. Archi — это означает «высший» по-гречески, то есть высший из всех веков: архи-волк, архи-вера, архи-варварство — высшего ужаса и прозрения век.

Его художественный архив восхищает нас в Музее изящных искусств.

Когда-то я наивно и лихо подписывал свои первые сборники: «А.В. — XX в.». Столетие казалось бесконечным. И вот век кончился.

Каждый факт отныне становится исторической драгоценностью. Осторожно, двери закрываются!

Александр III и Иван Владимирович Цветаев останутся в истории: первый как патрон, второй как основатель Музея искусств, пережившего обе Империи.

Святая очередь на Волхонке к столетнему музею не иссякает. Юные умы пытливно оценивают классику современным взором.

Микеланджело ошибся?
Почему на нас глядит
среди мрамора и гипса
необрезанный Давид?

Тяга к музеям отражает мировой процесс.

Помню, как трудно шло создание Музея Пастернака. Долгие годы интеллигенция боролась за него. Темные силы стояли насмерть. Пришлось, отступив от моих правил, писать письмо на Высочайшее имя — только тогда пробились создание музея и чествование в Большом театре столетия гения, который при жизни отказывался от всяческих юбилеев и наград. Кстати, тогда мне так и не удалось пробить выступление на сцене Большого В. Васильева и Е. Максимовой, которые создали этюд для «Доктора Живаго». Тогда же впервые в Большом театре был применен

киноэкран со слайдами. Пожарные пришли в ужас, когда я впервые на академической сцене зажег живую пастернаковскую свечу...

Ныне переделкинский музей стал местом паломничества тысяч. Я вижу через штакетник забора, как тянутся люди от своих невзгод и официальных торжеств в этот интимный храм. Стараниями Н. А. Пастернак сохранена атмосфера великой дачи.

Век подбивает итоги. Следом создаются музеи К. И. Чуковского, В. Высоцкого, А. Тарковского, В. Силура, Б. Окуджавы. Мы — свидетели их жизни, ныне ставшей историей.

Живым музеем стал залитый ливнем стадион Лужников, собравший со всей России поклонников Мика Джаггера — сухопарой реликвии рок-религии. Кельи школьников, оклеенные иконостасами рок-звезд и афишами, становятся крошечными музеями личных коллекций.

Не надо заводить архивов,
Над рукописями трястись, —

этот хрестоматийный завет Пастернак адресовал художнику. Но мы, свидетели его жития, должны заводить его архивы и трястись над его рукописями. Часто не замечают в следующих строчках лукавой оговорки поэта:

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но если ты значишь кое-что, то и известность тебе не помеха.

Аллен Гинсберг, сегодняшний Уолт Уитмен, показывал мне железные ящики, заказанные для его архивов, которые он впоследствии продал за 1 млн. долларов в Стэнфордский университет. Заболоцкий при жизни составил посмертное собрание сочинений. Каждый из людей должен посадить не только одно дерево — он должен спасти и выходить хотя бы одно древо памяти. Не всем дано, как Эрнсту Неизвестному, создать свое «Древо жизни». Но прутик может посадить каждый.

Сам я все не соберусь завести архив. Мучаю сотрудниц Литмузея, которые все пытаются заставить меня хранить рукописи. Впрочем, эта книга, наверное, есть Архив.

Поэмы, входящие в нее, печатались главным образом в газете «Московский комсомолец», самой тиражной из наших газет. Поэзия понятна народу.

Думается, что моя жизнь была не напрасна, хотя бы потому, что мне удалось спасти от уничтожения кусок деревянной решетки — той, на которую глядели перед смертью убиенные Романовы в ипатьевском подвале. Именно она отразилась в их глазах. Это единственная достоверная реликвия, оставшаяся от той страшной ночи.

Боже, храни народ бывшей России!
 Решетка впечаталась в серых зрачках
 мальчика с вещей гемофилией.
 Не остановишь кровь посе́йчас.

Восемь лет все кому не лень глазели на их запыленные, измученные кости по телевизору — это была постыднейшая экспозиция Музея нашего столетия. Одну половинку решетки я на всякий случай отдал хранить в Миланский музей Фельтри-нелли, другая принадлежит сейчас Историческому музею — там, где происходила презентация серии издательства «Вагриус» «Мой XX век».

В последние минуты века особенно звучат пророческие ноты Йозефа Гайдна: «Последние семь слов Христа». Миша Рахлевский, дирижер русско-американского оркестра «Kremlin», попросил меня написать новый текст к этому произведению. В предыдущую Пасху семь проповедей произносили семь иерархов всех ветвей христианской церкви — православный, католик, лютеранин... Условием было оставить часть евангелиевского текста.

Когда я начал писать, невольно звучала музыка стихов из «Доктора Живаго» о Христе. Это было современное прочтение Евангелия, то есть вечное, на которое оно и рассчитано.

Не дай бог, если живого Пушкина — озорника, повесу — заакадемичат сегодня.

Многие мои стихи вышли из-под Ижор Пушкина: «поди-жаяподижоры — подижоры-подижоры». Харизматический хорей гипнотизирует.

Гадание по абрису, разгадывание букв и чисел было духовным обиходом в пушкинскую пору. Достаточно вспомнить «Тройка, семерка, туз» — роковое предчувствие поэта. В этих цифрах предсказан год его гибели — 37-й. А туз говорит о дырке, пробитой пулей. Туз часто подкидывали, стреляя на пари. И гибельный возраст Пушкина предсказан: $37 + 1 = 38$ лет.

Строение романа «Онегин» зеркально. События и психология героев симметричны, как палиндромы. Роман начинается объяснением героини и ответом героя, кончается объяснением героя и ответом героини.

А что написала Татьяна в начале романа на «затуманенном стекле» своим пальчиком? Правильно.

«Заветный вензель О да Е»...

Это она писала, находясь внутри дома. Но взгляните снаружи, и вы прочтаете сквозь стекло число «30».

Надышав на стекло, я сотворил оконную инсталляцию, которую выставил в Пушкинском музее. Администрация опасалась, что стекло обязательно разобьется, не позволяла ставить. Но под мою ответственность все-таки разрешила. Ничего, не разбилось. Дыхание Татьяны вечно.

30 лет было Онегину в момент его рокового объяснения с Татьяной. Именно 30 лет было в 1829 году автору, когда он написал на экземпляре «Невского альманаха», где печатался роман, по свидетельству Пушкина — прямо на виньетке:

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись <...> о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.

Пусть читателя не смущают цензурные точки в скобках — в те времена ненормативная лексика была невозможна ни в газете, ни в книге, ни даже, прости господи, на телевидении. Пушкин советовал императору Александру напечатать Баркова, как первый шаг к демократизации и просвещению общества. Увы, лишь сейчас сбылась мечта поэта.

«Веселое имя Пушкин», — сказал Блок.

Эхо гениального размера «Черной шали», введенного Пушкиным в русскую поэзию, эхом отозвалось в потомках — в «Сероглазом короле» Ахматовой и «Контрабандистах» Багрицкого.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.

В покой отдаленный вхожу я один —
Неверную деву лобзал армянин.

И звезды обрызгали груди наживы —
коньяк, чулки и презервативы.

Так бейся по жилам, кидайся в край,
бездомная молодость, ярость моя!

Трубку свою на камине нашел
И на ночную работу ушел.

Судьба, как ракета, летит по параболе —
обычно во мраке, и реже — по радуге.

Пожалуй, самым «пушкинским» моим творением получилось «Гадание по книге» — в обложке цвета «Зеленой лампы». Пушкин ведь сам обожал гадания, был суеверен, складывал кукиш в кармане, когда видел людей в рясе.

Задумывалась книга как легкая, шутейная, но обернулось по-иному.

Книга показывала характер, не случайно меня предупредили отказаться от такого греховного замысла. Печаталась она в Финляндии. На выезде из Хельсинки был гололед, трейлер со всем тиражом разбился, двое сопровождающих погибли. Об этом мне не сказали. Но этим объясняется, что на презентации в ресторане «Золотой Остап» присутствовал всего лишь единственный экземпляр. Публика, как и я, не понимала ужаса произошедшего, веселилась. Первой гадала Пугачева. Ей, молодоженке тогда, выпали строчки:

Я и мужа нашла на галерке,
В эротическом сиром галопе.

На следующее утро я поехал из Переделкино на обед к Владиславу Старкову, главе издательского дома «Аргументы и факты», который издавал книгу. На выезде мы врезались в лежащий наперерез МАЗ, я получил очередное сотрясение мозга. Как потом я понял, все это тоже было загадано в книге. Наверное, это понял и Борис Гребенщиков, который, узнав о том, что со мной приключилось, поставил свечку в храме Преображения.

Недавно, в ночь перед семисотым спектаклем «Юнона и Авось», мне позвонил Марк Захаров. Оказалось, он попал

в автокатастрофу. Находился в корсете. И звонил перед вылетом в Германию, где должны были его поправить.

Как повторяется история!..

Гадание по книге — русская традиция. Достоевский возил с собой Евангелие, которое ему подарили жены декабристов, и обыкновенно гадал на нем. Перед смертью он попросил открыть страницу, назвал строку. Ему выпало: «Отпусти...»

Предсказания книги сбывались. Я, шутя, нарисовал видеому: зубцы Кремлевской стены складывались в буквы МММ, напоминая о тогдашней «пирамиде» Мавроди. Только сейчас стал ясен смысл рисунка. Именно Кремль создал «пирамиду» ГКО — аферу государственного масштаба.

Когда-то я написал:

Умеют хором журавли.

Но лебедь не умеет хором.

Откуда мне было знать, что через двадцать лет появится в России генерал, который «хором» уж точно не умеет.

Хулиганства моей книги делали мою жизнь невозможной. Например, приезжаю я с ней в Алма-Ату, перед выступлением пресс-конференция. Среди журналистов очаровательная женщина, представляющая «Караван», местный эротический журнал. Подходит она ко мне: «Можно, я погадаю на книге?» Я говорю: «Если не боитесь, пожалуйста!» Она бросает фишку перед всеми телезрителями Алма-Аты. Ей выпадает: «Все меня затрахали...» Она, смутившись, парирует: «Ну, это в переносном смысле, конечно...» С ужасом читает дальше: «Я... банк спермы...» К счастью, женщина оказалась человеком смелым, с чувством юмора. Она сама, первая описала этот случай.

Некоторое время я не решался гадать по книге. Теперь, когда весь тираж разошелся, можно рассказать все об этом полиграфическом чудовище.

Впрочем, я и сам не знаю, что здесь игра, а что всерьез. Почему на видеоме о Сергее Есенине написано: «Есенин — вешенный — вешен — повешен». Именно не «повесился», а «повешен» — существует и такая версия.

Гумилев предвидел, что умрет от руки рабочего, отливающего пули, о чем и написал стихотворение. Но всмотритесь в его имя — Гумилёв. Две точки над «ё» — не что иное, как две дырки от пуль, пронзившие поэта.

В именах раскрывается самое глубинное свойство языковой материи. Об этом знали древние китайцы, египтяне и наш

Флоренский. Именно в этом таится суть, назначение судьбы, а не во внешних прибамбасах — званиях, наградах. Поэт относится к этому с юмором. Ахматова писала, что поэта нельзя ни наградить, ни наказать. Это прерогатива Бога.

Время безвременно. Суть времени — вечное его отсутствие. Мы живем по циферблату, в котором отломана часовая стрелка, да и минутная тоже. Мы — люди с секундным суетным кругозором.

Когда Анна Андреевна получала в Оксфорде свою мантию, к сожалению, у меня было в тот день выступление в Манчестере. Я только послал Анне Андреевне темно-красную розу. Потом я прочитал, что она жаловалась, кажется, Глебу Струве, что, мол, Вознесенский был в это время в Англии и не пришел на церемонию вручения мантии.

В темные времена, когда любое признание на Западе было опасным, меня впервые выбрали в Нью-Йоркскую Академию. Я написал:

Я в Академию есмь избран.
 Год дэм! Скажу я. Боже мой!
 Всю жизнь борюсь с академизмом,
 теперь борюсь с самим собой.

В этом январе моя книга попала в «шорт-лист» Антибукеровской премии. Я отказался в пользу Эммы Герштейн, любимой мною Прекрасной дамы отечественного литературоведения.

Многое современному юному читателю покажется в книге непонятным. Например, почему наивное стихотворение о невинной любви шофера к генеральше вызвало такой бурный гнев советского генералитета и удостоилось специального, единственного отрицательного, упоминания в докладе идеологической комиссии, зачитанном грозным Л.Ф.Ильичевым?

Дело в том, что генеральши тех времен были существами анекдотическими, обязательно кустодиевских размеров и с минимальным интеллектом. Это сейчас по телевизору мы видим супруг наших генералов (Лебеда и других) — элегантно стриженных дам со спортивными фигурами. Монстры же тех времен были пугающими.

И еще. Поэзии приходилось встречаться не только с ангелами, но и с вурдалаками той эпохи. Дай бог, чтобы это не повторилось. Потому в этой книге посвящение Плисецкой соседствует с описаниями Галины Серебряковой и других подобных персонажей. Все это — архив века.

Северянин — форель культуры. Эта ироничная, капризно-музыкальная рыба, пятнистая, будто закапанная нотами, привыкла к среде хрустальной и стремительной. Как музыкально поэт писал в России: «На реке форелевой... уток не расстреливай...»

В. Б. Коренди прислала мне фотографии и свои мемуары о последней любви Северянина, искренние, наивно порывистые, очень женские. Полистаем несколько страничек из этих архивов.

«...Помню ясно — было мне лет пятнадцать... Я очень любила стихи, жила ими. С большим увлечением писала их сама.

Стихи Северянина пленили мою душу. Зачитываясь его поэзией, я как-то сказала маме: «А знаешь, я буду с Северяниным». Все, что окружало его, до сих пор кажется мне ложной и неподходящей рамкой для этого человека. Мама задумчиво покачала головой, но ничего не ответила. Да и что могла она ответить фантазерке-девочке? Возможно, что моя фраза показалась ей просто бредом? Судьба же подслушала и милостиво пошла мне навстречу. Хотя только спустя долгие годы я встретила с ним, но мы были вместе до конца его дней...

И вдруг мне пришла в голову сумасшедшая мысль: напишу Северянину! Попробую, что выйдет. Не ответит — значит, не судьба. В это время он снова был в Тойла. Это случилось в веселый месяц май 1931 года. Ответ пришел сразу. «Спасибо за письмо. Оно поразило меня безукоризненной до тонкости орфографией и прекрасным стилем. Пришлите, если сможете, свое фото». Я выполнила его просьбу и получила краткое письмо: «Спасибо. Вы именно такая, какой мне хотелось бы Вас видеть. Спасибо. Нам необходимо встретиться. Напишу — где и когда». И встреча состоялась...

Я, выросшая в строгой патриархальной семье, далекая от подозрений и вспышек необоснованной ревности, — очень мучилась ею. Он же был истерзан жизнью, обманут женщинами, в которых абсолютно больше не верил. Это неверие первые годы затронуло и меня... Пришлось приложить нечеловеческие старания, чтобы заставить его поверить и узнать меня. Но я не жалею о прожитых с ним годах: с людьми высокого полета надо уметь жить. Надо быть жертвенной!

Я порвала с минувшим, похоронила семь лет, прожитых с мужем, — и вошла в жизнь поэта и дочери без сожаления и раскаяния. Рождению дочери он светло радовался. Называл ее «златокудрая дочка». Часто приезжал навещать ее... Конечно — тайно. Судьба дала нам тяжкое испытание до 1934 года.

Наконец оно кончилось. Тогда и получена телеграмма: «Я дольше не вправе мучить тебя и себя. Я уйду к тебе»...

Переписка длилась месяца три. Наконец пришло письмо: «Мы встретимся седьмого марта». Встреча произошла на ступеньках Балтийского вокзала. В его руках был чемодан с рукописями. Больше ничего... Мы сняли домик в Пюхайэги, против магазина Черницкого: две комнаты, кухня и балкон. Девочка была с нами. Он говорил: «Ни один ребенок не жил со мной под одним кровом. Она единственная, которую я хочу видеть около себя всегда». Поэт очень много занимался с ней. Голос у него был богатый (баритон). Мне кажется, что если бы он не был поэтом, то был бы оперным певцом. Часто пел «По вешнему по складу» А. Толстого, разыгрывались даже сценки из опер.

Очень хочется подробнее описать наш голубой замок. Он состоял из большой и уютной кухни, передней и двух комнат. Кабинет его выходил окнами на Нарову. Низкий ослепительно белый потолок делает всю комнату похожей на уютную каюту. Комната выдержана в апельсинно-бежево-шоколадном тоне. На стенах — портреты Мирры Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха, «Бриллиантовая стрела» Чюрлениса. В углу бронзовый бюст хозяина работы молодого эстонского скульптора Альфреда Паска. Два удобных дивана, маленький письменный стол, полка с книгами, несколько стульев вокруг большого стола посередине, шезлонг у жарко натопленной полевой печки.

Каждой весной, как только вскрывается лед, он мучительно рвался на природу и как пойманный зверь метался по квартире. Я мучилась вместе с ним, но помочь ему была не в силах: надо было как-нибудь существовать. «Не отнимай у меня вёсен: их немного осталось у меня», — говорил он с отчаянием, глядя на весеннюю улицу. «Будь что будет: бросай школу! Двум богам не служат! А без вас я никуда не поеду!» И после тяжелой борьбы с большим страхом за будущее я навсегда покинула город и осталась в голубом замке навсегда. Впоследствии мы решили приобрести этот домик и начали выплачивать его стоимость.

Устроить наш уголок очень помогли нам С. Рахманинов, Раннит и Рерих, посылавшие в это время регулярную помощь. Против нас была небольшая деревенская лавочка. Я стояла на балконе, вся залитая солнечным блеском, и, улыбаясь, глядела, как этот большой ребенок с необыкновенного цвета голубыми глазами и сине-черными кудрявыми волосами в рус-

ской рубашке и высоких сапогах, весь лучась радостью, носит мне всевозможные хозяйственные предметы.

«Это тебе, Верушка, владей всем, — говорит он, — все тебе и дочери».

Как-то пришло письмо на Устье из Берлина. Его первая любовь — Евгения Тимофеевна, «Злата», просила разрешения приехать «проститься»... Игорь подал мне письмо и спросил ласково: «Верушка, ты разрешаешь ей приехать?» Я, конечно, ничего не имела против. И вот... пришла телеграмма: «Буду в субботу». Мы пошли ее встречать. «Надо же помочь старушке», — смеясь, сказал Игорь. Подошел автобус. Вышла элегантная моложавая женщина с картонками и бесчисленными чемоданами. Моментально устроила в его кабинете невероятный хаос. А там царил всегда безукоризненный порядок! Держала она себя как-то вызывающе и даже нервозно. В день приезда позвала меня и заявила: «Знаешь, если я почувствую, что не могу жить с тобой под одним кровом — я уйду!» Один раз они вдвоем уехали на рыбалку... И что же? Он вернулся один, страшно злой и раздраженный. На мой вопрос: «Что же случилось?» — он ответил: «Она стала чересчур нежна, и я... выбросил ее из лодки!»

Отношения были тяжелыми, почти невыносимыми. Мои родные, гостившие у нас летом, очень мучились, глядя на нас. И наконец свершилось: Злата переехала к Шлицке, на дачу к И. Б. Началась травля... Ежедневно летели письма с приглашением на ужин и т.п. К сожалению, Игорь шел... Возвращался он поздно, недобрый и каким-то чужим... Но утром все миновало, он молил о прощении, просил забыть все, обещал не ходить туда. И, увы, шел снова. Но я его не виню! Я виню этих двух женщин, затеявших грязную интригу против меня и ребенка. Так продолжалось месяц, полтора...

Свет и счастье снова воцарились в нашем голубом замке. Но, увы, ненадолго: он тяжело заболел двусторонним воспалением легких. До 12 часов я старалась питать его как можно лучше. К 17 часам наступала потеря сознания. Его посещали Пушкин, Ахматова, Мирра Лохвицкая. Я с ужасом слушала его невнятные речи, его беседу с потусторонним миром... Хотелось записать хотя бы что-нибудь, но, увы, это было невозможно. Получились бы обрывки фраз, сбивчивые слова, почти бессмысленные. Лишь одно удалось уловить: «Ах, Александр Сергеевич, дела-то мои плохи! Как мне плохо! Помогите! А вот и Мирра! Как всегда, вдохновенная и красивая».

Здесь же, на Устье, родилось его последнее стихотворение: «Последняя любовь». История его появления такова: ему захотелось выпить бокал шампанского. Я поехала на пароходе в Нарву. Когда я вернулась, я была просто поражена его необыкновенно вдохновенным выражением лица, его сияющими счастьем глазами. Он подозвал меня к себе, усадил в кресло и сказал: «Верушка, я тебе такой подарок приготовил! Будешь вознесена вот так!» Он поднял обе руки вверх, опустил на колени и... заплакал. Потом прочел мне это чудесное стихотворение, это «чудо», рожденное его светлой душой, его любящим сердцем.

Это была его «лебединая» песнь мне, дочери, сказочным годам, прожитым нами вместе...

Вот самое последнее его творение:

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая

В оскорбляемый водкой хрусталь.

И вздохнул я словами: «Так вот ты какая:

Вся такая, как надо!» В уста ль

Поцелую тебя, иль в глаза поцелую,

Точно воздухом южным дышу.

И затем, что тебя повстречал я такую,

Как ты есть, я стихов не пишу.

Пишут лишь ожидая, страдая, мечтая,

Ошибаясь, моля и грозя.

Но писать после слов вроде: «Вот ты какая:

Вся такая, как надо» — нельзя.

Нарва — Йыэсуу, 18 апреля 1940 г.

И спустя много, много лет могу я чувствовать руки твои, мягкость курчавых, душистых волос, не заменимую никем любовь твою...»

Я привел лишь несколько страниц из мемуаров В. Коренди — пора издать их целиком!

Как-то вез меня на выступление в Симферопольский Дом офицеров бойкий подполковник. «Вы знаете, в нашем здании выступал Маяковский. Теперь там мемориальная доска. Надеюсь, теперь будет и ваша доска», — порадовал он меня.

Этот случай вспомнил я на открытии доски ЛГПУ, где мое скромное имя красовалось после славных имен Лихачева, Ростроповича, Петрова и других почетных докторов. Я ока-

зался единственным москвичом среди них. Когда ректор ЛГПУ А. С. Запесецкий нахлобучил на меня черный квадрат и черную мантию, увы, цвет оказался символичным. В душе был траур по Старовойтовой. Только день назад мы виделись и беседовали с ней.

Узнал я о гибели Галины Васильевны на московском аэродроме. У меня должен был состояться вечер в Петербурге, в зале «Октябрьский». Я подумал, что его, наверно, отменят... Оказалось, что зал набит битком, причем большая часть — это были студенты и тинейджеры. Я поднял зал на минуту молчания... Потом, в Москве на митинге памяти Галины Старовойтовой, политики жаловались, что к ним пришло мало молодых, что тем будто бы все до лампочки. Но я видел ту молодежь в Питере: практически XXI век стоял и хранил минуту молчания. Действительно, молодые чураются политики, да и правы они, конечно, — но здесь убили женщину.

На прощании с Галиной гроб был поставлен выше уровня глаз — чтобы не было видно лица, разбитого автоматными пулями, заgrimированного тупейными художниками. Когда я взглянул на ее профиль, я понял, что он античный, греческий, с гипсовым отливом. Это было не только внешнее. Ведь она читала на память Овидия по-латыни. Истинный питерский интеллигент, она очень любила поэзию... Питер вообще пронизан античностью...

Банально утверждение, что новое поколение не колышет поэзия. На вечере в четырехтысячном «Октябрьском» их было процентов девяносто, они присылали мне записки, была и такая: «Я раньше не читал стихов. Пришел на имя, но теперь...» — дальше там были комплименты, повторять неловко, но человек как бы проснулся...

У зала «Октябрьский» тревожная аура. Позднее протоиерей Богдан поведал мне страшную историю этого излучения: под фундаментом находятся священные мощи, оставшиеся после разрушенного в 60-е годы храма...

Все цветы с вечера я отнес к подъезду Галины Старовойтовой. А на фасаде дома, совсем рядом с ее подъездом, прямо бросаясь в глаза, — вывеска: «Игровые автоматы»...

Все это тоже архив века.

Таланты рождаются плеядами.

Астрофизики школы Чижевского объясняют их общность воздействием солнечной активности на биомассу, социологи — общественными сдвигами, философы — духовным ритмом.

Казалось бы, поэзию двадцатых годов можно представить в виде фантастического организма, который, как языческое божество, обладал бы мощной глоткой Маяковского, сердцем Есенина, интеллектом Пастернака, зрачком Заболоцкого, подсознанием Хлебникова.

К счастью, это возможно лишь на коллажах Родченко. Главная общность поэтов — в их отличии друг от друга. Поэзия — моноискусство, где судьба, индивидуальность доведена порой до крайности.

Почему насыщенный раствор нынешней молодой поэзии все не выкристаллизуется в созвездие? Может, и правда идет процесс создания особого типа личности — коллективной личности, этакой полиличности?

Может быть, об этом говорит рост музансамблей? В одной Москве их более 7000 сейчас. На экранах пляшет хоккей — двенадцатирукий Шива. В Театре на Таганке фигуры Маяковского и Пушкина играют, как в хоккее, пятерками актеров. Даже глобальная мода — джинсы — вроде говорила о желании спрятаться, как и тысячи других, в джинсовые, а потом вельветовые, перламутровые ракушки. 150 000 000 телевизоров, одновременно затаивших дыхание перед «Сагой о Форсайтах» или хоккейным игрищем, связаны в один организм. Такого психологического феномена человечество еще не знало. Всемирная реакция одновременна.

Если в недавнем «Дне поэзии» снять фамилии над стихами, некоторые авторы не узнают своих стихов, как путают плащи на вешалке. Может быть, и правда пришла пора читать стихи хором?

Впрочем, может быть, причиной тому не только излучение космоса, но и частности земного порядка? Может быть, доля

вины ложится и на иных критиков? Часто в газетах и журналах пропагандируется серость поэзии, безликие стихи выдаются за образцы. Долгие годы группа критиков сладострастно отпугивала молодых от всего необычного. Сложившимся мастерам они повредить не могли, но неопытных могли засушить. Сейчас проповедники серости, спохватившись унылой картины, призывают к яркой серости. Это было бы смешно, если бы не было столько вытоптано...

Но поэзия, как еще Маяковский подметил, — пресволочнейшая штукавина! — существует, и существует только в личности.

Я против платонических разговоров о поэзии вообще. Возьмем для разговора конкретные стихи и судьбы некоторых молодых поэтов, не имеющих еще «добрых путей», подбавим в больших журналах — поговорим о поэзии допечатной.

Александр Ткаченко пришел ко мне пять лет назад. Молодой мустанг эпохи НТР, норовистый футболист из Симферополя, он играл тогда левого края за команду мастеров столичного «Локомотива». Стихи были такие же резкие, безоглядные, молниеносные, упоенные скоростью, «били в девятку». Правда, порой метафора лихо шла по краю, схватывала внешнее, оболочку, не соединяя сути явлений.

Через полтора года он явился снова. Я не узнал его. Он посуровел, посуровели и стихи. Стихи не пишут — живут ими. За стихами стояла травма спины, адские муки в больнице, когда человек часами висит подвешенный за руки, в парилке, с грузом на ногах — так выпрямляют позвоночник. Теперь он занимался на физмате. Проблемы астрофизики, сложность мира, современная философия — не пустой звук для него, но главное в стихах — ежечасная серьезность бытия:

Ты втиснешься в вагон, как будто в том заветный,
среди людей, по крови неродных,
поедешь на работу такой же незаметный,
как тысяча других, как тысяча других...

Рефрен, повтор набегает, давая зрительное ощущение движения этих тысяч. Каждый — неповторим. В строках повторяющаяся неповторимость бытия, единственность каждого из тысяч.

Вообще в сегодняшней поэзии понятие повтора, закли-
 ния — особо. Оно не только для ритма. Оно говорит о характе-
 ре создателя, о верности его своей идее среди тысячи иных по-
 нятий — зыбких и случайных. Повторенье — мать творенья.
 Как чередуются отливы и приливы, строка, отхлынув, возвра-
 щается к нам, наполненная новым значением, — «как тысяча
 других...». Начнем другое стихотворение:

В осенние капли добавлена меда тягучесть...

Не беда, что в горестно-торжественную строфу попала
 капля меда из арсенала Мандельштама.

* * *

Поэзия вся наполнена эхом. Ее акустические пространства
 не изолированы, они полны отзвуков еще звучащих и уже от-
 звучавших голосов. Во фразе Батюшкова «А кесарь мой — свя-
 той косарь» уже чудится Хлебников. Самая известная лермон-
 товская строка «Белеет парус одинокий...» была написана до не-
 го в 1827 году А. Бестужевым-Марлинским. В возгласе Блока:

Россия, нищая Россия... —

слышится пушкинский вздох:

„Мария, бедная Мария...“

Заболоцкий в речевом и интонационном слое был сыном
 хлебниковских Шамана и Венеры, но как ярки его образная
 пластика и самобытность!

И у сегодняшних поэтов просвечивает:

Я хочу быть солучьем
 двух лазурных планет.
 Я хочу быть созвучьем
 между «да», между «нет».

(Северянин)

Я как поезд,
 что мечется столько уж лет,
 между городом Да
 и городом Нет.

(Евтушенко)

«Перенимание чужого голоса свойственно всякому лири-
 ку, как певучей птице, — пишет Блок. — Но есть пределы это-

го перенимания, и поэт, перешагнувший такой предел, становится рабским подражателем... Таким образом, в истинных поэтах... подражательность и влияния всегда пересиливаются личным творчеством, которое и занимает первое место».

Не эхо, а это свое важно различать во встречном поэте.

На днях два молодых поэта принесли мне стихи своего товарища Н. Зубкова, которого рано не стало. Сквозь драматичный мир его поэзии бьет ощущение новизны:

весна
 подрастают
 женские ноги
 у толпы

Сколько свежести в этой строфе! Как точно в беспшубной толпе увиден зов весны, и знаки препинания сброшены, как зимние шапки. А вот под юным наигрышем, опять нарастающая, без запятой проступает серьезный характер уже не мальчика, но мужа, с ответственностью за судьбу времени:

девушка
 давайте погуляем
 времени
 немного потеряем
 поболтаем
 разного насчет
 мальчишки
 давайте бить посуду
 время
 максимального абсурда
 нехотя
 но все же настает
 девушка
 давайте погуляем
 голову
 немного потеряем
 поболтаем
 личного насчет
 мальчишки
 давайте мыть посуду
 не бывать в отечестве
 абсурду
 этот фокус
 с нами не пройдет

Вить хочется, когда понимаешь, что поэт этот уже больше ничего не напишет.

* * *

Недавняя передача о Хлебникове, которой внимали миллионы телезрителей, доказала, что нашему современнику Хлебников так же понятен, хотя и сложен, как и музыка Шостаковича или романы Габриеля Гарсиа Маркеса. Все мы повторяем слово «летчик», подчас забывая, что оно рождено Хлебниковым. Нет выше участи, чем остаться в слове родного языка! (Кстати, давно уже настало время издать академическое собрание Хлебникова.) Даже странно сейчас читать Маяковского и Асеева, которые бились за понимание Хлебникова. И любому школьнику кажется абсурдом, что когда-то даже Маяковского не понимали. А том Анны Ахматовой, разошедшийся массовой тиражом в двести тысяч экземпляров? Поэзия А. Ахматовой — не масскультура. И не масскультура книги Самойлова, Петровых, а их нет на прилавках.

Если отбросить случайную публику, привлеченную побочными интересами, то сегодняшняя аудитория серьезной поэзии составляет примерно миллион читателей. Это говорит о том, что в стране происходит процесс создания, так сказать, всенародной элиты.

«Последнее и единственное верное оправдание для писателя — голос публики, неподкупное мнение читателя. Что бы ни говорила «литературная среда» и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала, — всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно — коллективной души», — это еще Блок писал.

Есть ли формула поэзии? Глубже всех услышал ее в шуме времен слыльный Пушкин поздним октябрем 1823 года:

...ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум...

Это музыкальную фразу можно произносить с ударением на каждом слове: «ищу — союза — волшебных — звуков — чувств — и — дум».

Прислушайтесь, какое гулкое «у» — осени, разлуки, чужого моря, журавлиных труб — в этой чудной триаде — «звук, чувств и дум»!..

Определение «волшебных» адресовано не только звукам, но и чувствам, но и думам (не мыслям, а думам!).

Помощь старших мастеров «племени младому, незнакомому» должна звучать не в поучениях, а в волшебном звучании ими созданных строф. Порой неловко прочитать в «Дне поэзии» у старшего собрата такое, к примеру, отражение эпохи НТР:

Заструится дымок над трубою,
за калиткой снежок заскрипит,
и, как спутник,
снегирь над тобою
просигналит
«пи-пи... пи-пи-пи...»

(Журавлев)

Ай-яй-яй, как говорится, избавь нас, боже, от элегических «пи-пи»!

Вернемся к мукам молодой музыки. Свои интонации у А. Еременко, О. Хлебникова, В. Ширали, А. Чернова, Е. Шварц. А. Прийма задорно выдумал новый знак — восклицательную запятую.

Вот вещный мир киевлянина Парщикова, его рынок:

Из мисок выкипает виноград...
Из пенопласта творог, сыр и брынза.
Чины чугунных гирь растут, пока
весы, сойдясь, помирятся мизинцами.

А вот конверт из села Хлопуново Шипуновского района Алтайского края. Письмо написано на машинке, без точек и запятых: «...решил выслать на Ваш суд стихи Мне 25 лет Я слепой». Это Николай Б. Для него поэзия стала способом жить, выжить, ощущать мир.

Я живой и уже не живой —
Это зреет в сознание подспудно
С нераскрывшимся парашютом
Я иду на свиданье с землей...

На заре века поэт интуитивно провозглашал «шестое чувство». Здесь поэзия стала в прямом смысле шестым чувством,

через которое человек физически воспринимает жизнь, стала жизнью без метафоры. Не знаю, сложится ли Николай Б. в профессионального поэта, но он живет поэзией.

Не все в стихах молодых ровно. Думаю, что поэт интересен как достоинствами, так и недостатками.

Опять вспомним классику. Сколько пуристов обвиняли Есенина в безвкусице (чего стоит одно: «жизнь — обман с чарующей тоскою...»), Маяковского — в цинизме («...люблю смотреть, как умирают дети»), Мандельштама — в холодной придуманности (его дразнили — «мраморная муха») и т.д. Может быть, в стихах их и можно было вычитать такое... Но, увы, поэзия — пресволочнейшая штукавина! — существовала именно в этих поэтах.

Вообще поэт не должен быть для всех. Когда его стихи не нравятся, поэт сожалеет, но и рад этому. Всем нравятся только стиральный порошок «Новость» или дубленки. Каждому — свое.

Словечко «селф-мейд-мен» переводится: человек, который сам себя создал, начал с нуля. Это относится не только к Эдисону. Судьба любого поэта — самосознание. Маяковский и Есенин сами себя создали. Опека и иждивенчество стирают характер. Критика и мэтр могут лишь поставить голос. Но как необходимы при этом чувство ответственности и абсолютного вкуса!

Как бережно и самозабвенно ставил Чистяков руку Врубелю, Серову! Как поддержали В. Соснору пылкий Н. Асеев и академик Д. Лихачев, как окрылил глубокий анализ музу Кушнера! А как помогли творцам Потебня, Тынянов, Бахтин. Как плодотворно творческое направление нашей критической мысли сегодня — от мощного интеллекта патриарха ее В. Шкловского до таких несхожих, как В. Огнев, А. Марченко, С. Чупринин, Вл. Новиков и молодых М. Бокштейна и В. Ерофеева.

Как серьезны были для меня ночные беседы с А. Квятковским, теоретиком ритма стиха и создателем «Поэтического словаря», в его каморке, заставленной картотекою. Опасно поблескивая взором, он доказал мне, например, что наиболее неотвязчивые мелодии Северянина, его размеры, точно взяты из старорусских песен. Фанатик дольника, он боготворил былины и умолял не пользоваться стертым ямбом.

Критик нужен не только как наука, но как понимание, родство души, вдохновение, если хотите. Я не за комплиментарность, боже упаси! Часто и похвалы мешают. Например,

когда мои коллеги, вырывая из контекста строфу «Марше
О Пюса», зацитировали, затрепали ее:

Не пищите!
Мы в истории
хоть на несколько минут.
Мы — песчинки,
но которые
жерла пушечные рвут, —

то строфа эта стала инородной для стихотворения, так надо-
ела, что я выбросил ее.

Активна сейчас в критике спортивная, как у рефери или
фехтовальщика, фигура Ал. Михайлова. Его порядочность не
раз осаживала дубину-проработчика, поддерживала моло-
дых. Выстроенный им поэтический ряд не всегда беспорен,
но движим добротой. Он из рода печорских ушкуйников. Ар-
хангельский север не знал крепостничества и сохранил спо-
койную брезгливость к подлогу и мертвечине.

Увы, есть и иной тип критика — с темным глазом. Назо-
вем его условно критик К. К чему бы ни прикасался леген-
дарный царь Мидас, все превращалось в золото. К чему ни
прикасается бедный К., все превращается не в золото, а в не-
что противоположное. Жаль его, конечно... Но не дай бог,
возьмется он ставить голос поэту, — назовем того условно по-
эт П. И вот начинал парень вроде бы интересно, но едва ко-
снулись его мертвые рецепты К., как голос пропал, скис. Так
же глазил, засушил критик следующего поэта, за ним еще
и еще. Но ведь опыты эти ведутся на живых, мертвечина
впрыскивается живым людям, не игрушкам. Загубленные
таланты не воскресить. И фигурка К. уже не только смехо-
творна, но и зловеща.

* * *

Помню поразительное чувство, когда первые мои стихи
напечатались. Я скупил 50 экземпляров «Литературки», рас-
стелил по полу, бросился на них и катался по ним, как сумас-
шедший. Сколько людей лишены этого ощущения! Когда те-
бя просолят до почтенных лет — тут уж не до восторга. Конеч-
но, стихи, если они — подлинная поэзия, а не сиюминутный
отклик, они — на века. Но появляться в печати, получать ка-
кой-то общественный отклик им нужно вовремя. Слабо уте-
шает мысль, что Гомера при жизни тоже не печатали.

Представьте, что блоковские «Двенадцать» увидели бы свет лет через пять после написания, — прозвучали бы не так. Дело не только в политической актуальности. Появись «Стихи о Прекрасной Даме» лет через десять, мы бы не имели такого явления поэзии.

Плохо, если муза засидится в девках. Винокуров как-то сетовал, что его и Слуцкого лет до сорока обзывали молодыми, чтобы иметь возможность поучать. Так до сих пор шпыняют кличкой «молодые» поэтов на сорокалетнем барьере. Невнимание затихло многие свежие голоса. Ведь чувство чуда, с которого начинается поэзия, более под стать молодым годам. Талант раним, он может очерстветь, обтираясь о редакционные пороги. Второго такого таланта не будет!

В индустриальном обществе мы боремся за бережность к скудеющим дарам природы — воде, нефти, лесному вольному поголовью. Но ведь человеческий талант — наиболее уникальный и невосполнимый дар природы.

Все чаще в нашей жизни я различаю новый склад характера — в стихах я назвал его «мыслящим промышленником». Люди дела, современного кроя ума, далекие от абстрактных лозунгов, «деловые сумасшедшие», они перекраивают производство, борются с хаосом бытия. Я встречался с ними. Они по-мужски сами пытаются преодолеть инерцию стиля. Хочется видеть этот характер и в поэзии.

Чтобы научиться плавать — надо плавать, молодому поэту надо печататься. Маститые должны помочь допечатной музе. Хорошо бы издать молодую антологию под названием «До» — авторов допечатных, до славы, до успокоенности. «До» — это первая нота музыкальной гаммы. С нее все начинается. Так и вижу золотую ноту на переплете.

Не будем догматиками — художник может сложиться и поздно. Пример тому — судьбы Уитмена, Тютчева, Гогена. Поэзия не метрическая анкета. Новый поэт может прийти с улицы, а может и родиться из тех, которые уже есть.

В недавно вышедшем «Дне поэзии» Ал. Михайлов пишет, что с середины 60-х годов «началась продолжающаяся и ныне критическая «кампания» по развенчиванию плеяды молодых поэтов 50—60-х годов...» Кто эти поэты, начавшие свой путь в 50-х и которых вот уже 20 лет все развенчивают и не могут развенчать? Может быть, Б. Окуджава и Б. Ахмадулина? Р. Рождественский и Е. Евтушенко? В. Соколов и Г. Горбовский? Н. Матвеева и В. Цыбин?

Я по-разному отношусь к этим разным поэтам, но, к сожалению для инициаторов «кампании», Время и суд читательский неумолимы. Без имен этих, как и без других имен и манер, сегодняшняя поэзия невозможна. А не будь этих имен, сколько критиков-беллетристов осталось бы без работы!.. Правда, есть сдвиги. Радостно за критика, который недавно признался, что ему понадобилось 7 лет для того, чтобы понять Р. Рождественского, верю, что лет через семь он дорастет до понимания других поэтов.

Время с юмором относится как к «обоймам», так и к «кампаниям». Поэт всегда единичен, он — сам по себе.

Понятие «поэт» шире понятия «певец поколения».

Поэтом какого поколения был Блок? Да всех, наверное. Иначе голос поэта пропадал бы с уходом его поколения, обладая лишь исторической ценностью. Поэт может и не быть певцом поколения (Тютчев, Заболоцкий). И наоборот — Надсон не был поэтом.

* * *

Поэта рождает прилив, как говорили классики, «идеального начала», великой идеи. Поэт — это прежде всего блоковское «во Имя».

Этим «во Имя» он вечно нов, это «во Имя» он объясняет знаками своего искусства, этим «во Имя» он противостоит пошлости банального вкуса, этому «во Имя» и посвящена данная ему единственная жизнь.

Жду рождения нового поэта, поэта необычайного.

Возможно, он будет понят не сразу. Но вспомним классическое:

У жизни есть любимцы,
Мне кажется, мы не из их числа.

Пусть он будет не любимцем, а любимым у жизни и поэзии. Пусть насыщенный раствор молодой поэзии скорее выкристаллизуется в магический кристалл.

Содержание

Вдвоем	
«Над темной молчаливою державой...» — 7	Плохой почерк — 26
Ради Тебя — 8	Носорог — 27
Новый поэт — 9	Деньги пахнут — 29
Осень Пастернака — 10	Не сетую — 30
Море — 13	«Я думал, Ты — звездная женщина...» — 31
«Как палец, парус вылез...» — 14	Жарим мираж (Поэма) — 32
Голос — 15	Памяти Юрия Щекочихина — 37
«Тройка. Семерка. Русь...» — 16	Прощай, сайгачонок! — 38
«Поглядишь, как несметно...» — 18	«Хозяйка квартиры...» — 40
СКВ прилетели — 19	«Европа-плюс — плюсплюсплю — сплю с...» — 41
«У нас Рим и Азия смыкаются...» — 21	Семидырье — 42
«Тот — в Склифосовке...» — 22	Памяти Алексея Хвостенко — 44
Алексею Зубову — 23	«Безветренна наша площадь...» — 45
Хаос — 25	«Суперстары. Супостаты...» — 46
	Дом отдыха — 47

- МТС — 48
 Я другому виной — 49
 Пиета — 50
 Автоматчица — 51
 Сомнамбула — 52
 «Годы. Крушенья новые...» — 54
 Мужчина и зеркало — 55
 Ответ на записку в Одессе — 58
 Сотрясение — 61
 Инструкция
 по скоростной ходьбе — 63
 «Странен мир безалкогольный...» — 64
 Кнопки — 65
 М. Жванецкому — 66
 «Слава павшим!...» — 67
 Ночь — 68
 Жертвы 11 сентября — 69
 Стихи, написанные в клинике — 72
 Возвратитесь в цветы! (Поэма) — 74

- Сирень — 107
 Дюймовочки — 108
 «Мы — кочевые,
 мы — кочевые...» — 110
 «Затосковала душа,
 охромела...» — 112
 Трубадуры и бюргеры — 113
 Скорость — 114
 Зеленая обезьяна — 115
 Играет Горовец — 118
 У моря — 119
 Собакалиписис — 120
 «Мимо губ пронесли зелье...» — 122
 Комендантский час — 123
 Сороковой день — 125
 Гениальная ошибка (Поэма) — 127

Думайте поступками

- Первый снег — 137
Туля — 139
Вечеринка — 140
Свадьба — 142
Русские поэты — 143
«Родившиеся в хлеву...» — 144
«Ну почему он столько раз
про ос...» — 145
Любовь и горе — вне советов — 146
Б. А. — 147
«Я подошел к мужчине...» — 148
Колесо смеха — 149
«Лунатик цифри...» — 150
«Радиоактивный слепец...» — 151
Hall in — 152
Архитектор Павлов — 153
Думайте поступками — 154
«Под утро ты придешь назад...» — 155
Горный родничок — 156
«У речки-игруньи...» — 157

- «Я думаю,
право ли большинство?...» — 158
Тоска — 159
Рецензия на сборник В.Бокова — 160
«Не надо околичностей...» — 162
«Кто мы — фишки
или великие?...» — 164
Дети-сапоги — 166
После фильма «20 лет спустя» — 168
«Прославленная тень!...» — 169
«Был он мой товарищ
по классу...» — 170
Школьник — 172
«Все возвращается
на круги свои...» — 174

Среди авралов и аварий

- «Кошкин лаз» — Цезарь-палас — 177
31 марта — 179
«Хороши круговороты!...» — 180

- Отставший лебедь — 181
«Всходы страшных семян...» — 182
 Песенка — 183
Секвойя Ленина — 184
 К барьеру! — 186
 «Спи, родная.» — 187
Как страшно время!...» — 187
 Другу — 188
Поминки с сенатором — 189
 «Словно ввели
 в христианство тебя...» — 190
«Остерегите истеричек!..» — 191
«Медновзметенная гора...» — 192
 Елка — 193
Осенний Дилижан — 194
 «Кто на землю
 обетованную...» — 195
«Озера летние от слуги
 сбрендили...» — 196
«Малина и крапива...» — 197
 Друзьям-юбилярам — 198
- Рембо перед зеркалом — 199
 «Зачем я пришел
 к перламентному Мишо?..» — 200
 Change — 201
 Ха-ха-ос — 205
 «Помощь явная —
 тщеславная...» — 206
Балтийская тюленица — 207
 «Бросками кроля
 в темном море...» — 208
 Скорая помощь — 209
«Клонировите, потц, овечек!..» — 210
- Предшествоющая творенью**
- «Используйте силу свою...» — 213
 Яблокопад — 214
 «В каждой веточке
 бусинка боли...» — 218

- «Люблю неслышный
почтальона...» — 219
Вор воспоминаний — 220
«Омытые светом деревья...» — 222
«Твое белое платье
влюбленно...» — 223
Песня — 224
Портовая стойка — 225
Песня кабацких разбойников — 226
Яблонька — 227
Белая — 228
«Провожайте летние
самолеты!...» — 230
«Где они полюбили...» — 231
«Тина, тихонькая Тина...» — 232
«Этот плоский огель
поперек побережья и лета...» — 233
Заяц пробежал — 234
«Ушла душа,
Земле до лампочки...» — 235
Дача небытия — 236
- Летописец — 237
«Я не верю в кошмар
изотермы...» — 238
«Эски шьют
кресла Аэрофлогу...» — 239
«Когда душа
метелями забита...» — 240
«Все конкретней
и необычайней...» — 241
«Мужчины с черными
раскрытыми зонтами...» — 242
Доноры — 243
Предложение в агропром — 244
«Крепит антеннку
бабка Агафья...» — 245
«Ты заваришь “тизано” ...» — 246
Рожество — 247
«Когда я слышу визг
ваш шукурный...» — 248
Узоры на окне — 249
Ресторан — 250

- «В век варварства и атома...» — 251
«Взад-вперед походкой
челночной...» — 252
 «В доме негусто,
но пиршество взору...» — 253
Олимпийская сборная — 254
«Верблюды пишут верлибры...» — 255
 Трасса смерти — 256
Из якутского дневника — 257
 Охотник — 258
«Мы в городе проголодались...» — 259
Из сибирского блокнота — 260
«Любя природу во все глотки...» — 261
 Гость у костра — 262
 Шабашники — 264
 «Я в Шушенском.
В лесу слоняюсь...» — 266
 Некролог — 268
«Летел он от Земли
наискосок...» — 269
- Ласточки — 270
Цветы на стволе — 272
 «Как белоснежно,
как бездонно...» — 273
 «Я башня Сухарева...» — 274
 Липчанские болота — 275
 «Я хочу в осенней дали...» — 276
 «Ну, что же,
примем аксиому века...» — 277
 Грибница — 278
Московская окрошка — 280
 Марг — 282
 Бассейн — 283
 Мороз — 285
 Экология — 286
 Дежурная аптекарша — 287
 «Я помню птиц неутолимой
 Вечности...» — 290
 «Большеголовая...» — 291
 «Море подзалетело...» — 292

- Донжуанизм — 293
 Ответ министру — 294
 Отступление об отступлении — 295
 Окна — 296
 «Две чашки
 в сумерках белели...» — 297
 Объявление о знакомстве — 298
 Вынужденное отступление — 300
 «— А еще я скажу апропо...» — 302
 Стихотворение, вращающее вал — 303
 «Идет перетягивание каната...» — 304
 Рука 44-го года — 305
 Баллада 41-го года — 306
 Гамбург-ретро — 308
 Доктор Осень (Баллада) — 309
 Братская помощь — 317
 Спасательная станция — 318
 «Ночами из зубцов
 кремлевских...» — 319
 Фрески — 320
 «Хранится в моем шкафу...» — 321
- Олень по кличке
 Туманный Парень — 322
 «Безоблачное небо...» — 324
 У костра — 325
 «Нависает наполовину...» — 326
 Манеж — 327
 Из Мексики — 328
 Кладбище грузинского шрифла — 330
 «Выгнувши шею
 назад осторожно...» — 332
 «Ах, переход
 в полосках белых...» — 333
 Зодчие речи — 334
 Полуторка — 338
 «Я не в Кармен —
 в Кар-умен верю...» — 339
 «Любовь — это когда в горе...» — 340
 «Не поняли евангелисты...» — 341
 «Проглядев Есенина,
 упутивши Пушкина...» — 342
 «Наденете белые рубахи...» — 343

- Дозрење — 344
 «Кого боится
 Вирджиния Вульф?..» — 345
 «Читаю небо,
 став душою зорче...» — 346
 Оппонентам — 347
 Поединок — 348
 «Betweeen нас
 был невозмутим...» — 349
 Рождество — 350
 «Что за Гость залетел
 на планету Земля...» — 352
 Марьяна — 353
 Спасатель — 354
 «На соловья не шлют
 доносов скворки...» — 356
 Прощание с книгой — 357
 «На Сухаревой башне
 Иван Великий женится!..» — 359
 Поле брани — 361
- Тобольский романс — 363
 «Мы говорим о форпостах...» — 364
 Дыба-воевода — 365
 Пляж душ — 366
 Сонет с узлом — 368
 Цветная песенка — 369
 Рифмо-гекзамеры — 370
 Пост — 372
 Воспоминания
 о земном притяжении — 373
 Песенка из спектакля — 374
 «От Ховрина и до Мехико...» — 375
 «Отогнувши средний
 подлокотник...» — 376
 «Не возникай, —
 скажу я, — дура...» — 377
 «Вы выдумали —
 мы стадом плетемся...» — 378
 Игра в наперсток — 379
 «Проходишь ты
 без погучика...» — 380

- «Как ты кричишь,
садовая скамья...» — 381
Из Хемингуэя — 382
 Зунда — 384
«Я хочу тебе помочь...» — 386
 Комплекс — 387
Деревянная звонница — 388
 «Глядите в лапу
 клиенту нищему...» — 389
«Пусть на суше вызывает
доблестно...» — 390
 «Будто кто секретку
 нарушил...» — 391
«Я писал Треугольную грушу...» — 392
 После последней войны — 394
«Когда человек боится...» — 395
 «Вырулить не успеть...» — 396
 Премьера — 397
 Розивелет — 398
- Памяти Наташи Головиной — 400
«Сад осенний как Кустодиев...» — 401
Иван-Царевич — 402
 Море — 403
 Загадка ЛФИ — 404
 Ю. Д. — 405
 Марля времени — 406
«Скучен твой страшный...» — 408
 Вампы — 409
 Вамп-2 — 410
 Вамп-3 — 412
 «Пусть другие
 ваши рейтинги...» — 414
- Рифмы прозы**
Архи-век — 417
Муки Музы — 429

Андрей Андреевич Вознесенский

НЕ БУДЬ ШЕСТЕРКОЙ

Собрание сочинений. Том шестой

Редактор В.П.Кочетов
Художественный редактор Т.Н.Костерина
Технолог С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки Л.Г.Иванова
Компьютерная верстка обложки
и блока иллюстраций В.М.Драновский
Корректор Н.В.Семенова

Подписано в печать 31.01.2005. Формат 60×84/16.
Тираж 5 000 экз. (1-й завод — 1 000 экз.) Заказ № 1448.

ЗАО «Вагриус Плюс-Минус»
107150, Москва, ул. Просторная, д. 6
E-mail: vagrius@vagrius.com
Информация об издательстве в сети Интернет:
<http://www.vagrius.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Тверской ордена Трудового
Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.



ВАТРИНС



ISBN 5-9560-0138-0



9 785956 001387